

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

12/2023



В номере:

Некрополист

Роман Анны МАРКИНОЙ «Куколья», вдохновлённый реальными событиями, — о любви и сумасшествии. Необычный триллер, разрушающий представление о жанре. Автор не пытается напугать читателя — ужас вызывает сама психологическая достоверность сюжета. Тягучая атмосфера, поэтический язык, документальные вставки, постепенный распад сознания одного из героев...

Николай Иванович Зелёнкин преподаёт в университете, пишет статьи в городскую газету, а ещё — увлекается некрополистикой и на досуге составляет каталоги кладбищ... Только вот от привычных дел его отвлекает студентка Юля Метелькова, напросившаяся на дополнительные занятия. И чем больше сближаются эти двое, тем яснее становится, что Юля попала в какую-то нехорошую историю.

«Счастливей боли нить»

Предновогодье и почти детское ожидание Рождества, когдаходишь — пусть мысленно — в свой Вифлеем, «как если бы на божий / свет шли и вышли, и не врозь / никто ни с кем, и дышим, дышим...» Об этом прозрачные ностальгические стихи Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА. Метафизическая поэзия Эгвины ФЕТ — об истечение дней, когда хочется остановить мгновенье, и « чтобы потрогать жизнь снаружи, / почти не нужно ничего». Лирика Елены ЛАПШИНОЙ — как бы дружеская поддержка Зинаиде ПАЛВАНОВОЙ, её циклу «Опыт стихотерапии» — укрепляет дух и вселяет надежду: «Мы все — золотого сеченья, / сокрывшие раны в броню. / Но Бог нам даёт их свеченье, / как прикосновенье к огню».

Дебютантка номера Елена КОЛЕСНИЧЕНКО — в раздумьях о языке и слове, «о том навек непереводимом, / Что можно слышать, не разумея».

«Это зёрнышки мака скрипят на зубах и песчинки пустыни»

Два поэта. Вместе всю жизнь. Год назад Натальи АРИШИНОЙ не стало. Илья ФАЛИКОВ пытается найти верную интонацию (его эссе и называется «Сотая интонация») и точные слова, чтобы рассказать о ней — жене, женщине, человеке, поэте...

«... Она часто говорила, что она не москвичка. Меня это раздражало. Почти вся жизнь прожита в Москве. /.../ "Пришлая". Это ощущение не отпускало её нигде и никогда. Больше всего она чуралась самозванства. Однако наши стихи знают больше нас. На онтологический холод отвечает всечеловеческое родство. /.../ Я знал, что живу с нездешним существом. /.../ Свою красоту она считала гипотезой, не научным фактом, однако могла и воспользоваться этим грозным оружием. /.../ На самом-то деле она была хулиганкой. /.../ Женское ощущение своей малости подпирается мужеством предстояния перед ужасающе бездонной Вселенной. Бытийная нота в беспасфосной поэзии. /.../ Ко всем моим делам она относилась как к своим. К Рыжему ревновала, а к Цветаевой нет. (Её ревность шла от судьбы нашего сына.) /.../ Каждое утро она рассказывала мне только что просмотренный сон. Последнее время это был один и тот же сон — про бесконечный лабиринт каких-то коридоров, коммуналок, общаг и гостиниц, чужих домов и улиц в каком-то захолустье. Выхода оттуда не было...»

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

12'2023

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.10.2023.
Подписано в печать 22.11.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Денис
ГУЦКО

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Счастливой боли нить. <i>Стихи</i>	3
Анна МАРКИНА. Куколья. <i>Роман</i>	8
Елена ЛАПШИНА. Мы все — золотого сеченья. <i>Стихи</i>	108
Евгений ЭДИН. Мы будем говорить со львами. <i>Повесть</i>	111
Елена КОЛЕСНИЧЕНКО. Что можно слышать, не разумея. <i>Стихи</i>	151
Николай ЛУГИНОВ. Дела семейные. <i>Рассказы. С якутского.</i> <i>Перевод Владимира Крупина</i>	154
Эгвина ФЕТ. Когда б не истечение дней. <i>Стихи</i>	184
Сати ОВАКИМЯН. Мой дом переехал. <i>Рассказ</i>	187
Зинаида ПАЛВАНОВА. Опыт стихотерапии. <i>Стихи</i>	196

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Наталья МАРМЕЛЮК. Феникс. <i>Рассказ</i>	199
--	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Илья ФАЛИКОВ. Сотая интонация. <i>О Наталье Аришиной</i>	204
--	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр МАРКОВ. Сверхнадёжные рассказчики (<i>Андрей Сен-Сеньков.</i> <i>«Каменный зародыш»; Антон Секисов. «Комната Вагинова»;</i> <i>Дмитрий Данилов. «Пустые поезда 2022 года»</i>)	235
--	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Пространство для Бытия	242
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Что с журналами поэзии?	253
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Венский вальс	258
-----------------------------------	-----

Годовое содержание журнала «Дружба народов» за 2023 год	261
---	-----

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

© «Дружба народов», 2023

Владимир Гандельсман

СЧАСТЛИВОЙ БОЛИ НИТЬ

Под фонарём

Давай под этим фонарём
необычайное с подъёмом —

как если бы мы шли вдвоём
по Кировскому, рядом с домом,
и хлопьями с небес летел
и таял под ногами снег, — как если
бы завернули и желтел
Филатовской больницы (ясли,
мой Вифлеем) фасад, нас ждут, —
как если бы на запах комнат,
где наряжают ёлку, жгут
бенгальские, где нас не помнят,
поскольку мы не в прошлом, нет,
мы есть! — как если бы, в парадной
снег стряхивая, шли на свет
непререкаемый, отрадный —
он из распахнутых дверей
нас ослепит — и мы в прихожей, —
предновогоднее скорей
давай — как если бы на божий
свет шли и вышли, и не врозь
никто ни с кем, и дышим, дышим —

давай прозрачное насквозь
стихотворение напишем.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Работал кочегаром, гидом, сторожем, грузчиком, преподавателем русского языка и литературы. Автор более 20 сборников стихов и записных книжек «Чередования» (СПб., 2000). Лауреат «Русской премии» (2008), премии журнала «Интерпоэзия» (2014) и журнала «Дружба народов» (2022). Живёт в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Предыдущие публикации в «ДН» — 2022, № 8 и № 10.

* * *

тенистые дворы,
а там что ни окно,
то жизнью изнутри
затеплено, родно,
и не дворы — шатры,
где время, как зерно,
хранится до поры,
где целиком оно —
тишайший пульс игры,
где выпало — дано —

пить мёд и молоко,
и воздух утра пить,
где звёзды высоко
мерцают свет пролить,
где птичье далеко —
«ци-ци» или «фьюить»...
какое-нибудь «о!»,
счастливой боли нить —
чтоб не было легко
отвыкнуть и забыть —

* * *

в комнатном пространстве сумрачном
светом — только штора приоткроется —
светом — родниковым утром — уличным,
ранним светом зеркало умоется —

жизнь такая маленькая теплится,
мирится сама с собою, ссорится,
замирает, не мычит, не телится,
в зеркало с утра пораньше смотрится —

сколько ей навстречу света светится,
окна поездов проезжих сыплются,
жизнь такая маленькая вертится
перед зеркалом, никак всё не насытится —

через лес дорога к морю тянется,
тихая, извилисто-тенистая,
к берегу сойдёшь — она останется,
вспомнив шаг твой, затоскует, мгlistая —

маленькая жизнь вот-вот закатится,
от себя как-будто отрешается —
и тогда — ты не смотри, что пятится
и что в зеркале всё жальче отражается —

вспыхнет и любовь, и мысль счастливая,
мысль простая вспыхнет как ей хочется —
как небесный свод, неисчислимая —
мысль, что это никогда не кончится —

через сорок пять лет

угол Киквидзе и
Артиллерийской, двадцать
дробь тринадцать. кто там? — свои.
если вкратце.

два окна на третьем
этаже, слева от водосточной.
видишь, в свете заката? в свете,
если точно.

там родилась моя дочь. беда,
в памяти тонешь.
комната, ты заходил туда,
если помнишь.

помню. но что-то застит, прости,
самую сердцевину взгляда.
мне надо идти. иди,
если надо.

тебе

и лёгкий блик,
и мельк ресничный,
и крик, и крик
гортанный, птичий,

и солнца шар,
и этот странный
крылатый дар,
и взмах двугранный,

и в сумрак, в лень,
листвою тканый,
ушедший в тень
день первозданный,

и мысль, твоё
сражение с горем, —
теперь моё
созвучье с морем,

и моря ум,
и ветер полнощный,
и шум, и шум
органный, мощный.

ОКНА

окна в доме напротив — сухощавая,
в мелких запутанных кудряшках —
её муж, её собачка, её слащавое
вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —
и вечное: дверь входная от ветра хлоп — вот!
опять! — и бежит ко мне — слесари! сварщики! —
сколько хлопот! —

вдруг — никого, комнаты, как пустые ящики —

долго думаю: жили, ели, переодевались
в пальто или в плащики —
куда подевались? —

поздний вечер, закончен сеанс —
я одна, раскладываю пасьянс —

окна в доме напротив — длинные молодые ноги
ходят по кухне, лежат на диване —
хоть и две, но обе две одиноки —
телевизор за шторой, мерцанье, мерцанье —
иногда каких-то гостей
тени — а то перекатывает клюшкой
мяч — других новостей
нет в окне — ноги — а раньше жила старушка
взбалмошная в кудряшках —
вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —

который день квартира эта темна —
я раскладываю пасьянс, одна —

долго думаю: жил, ходил
из спальни в гостиную — зачем они затевались,
те, кто белые потолки коптил, —
и куда подевались?

псалом

я Твой голос беру
в руки и подношу к ноздрям,
нюх — куда там зверью! —
нюх мой остр,

слух мой, как звонарям,
внемлет Тебе,
многоцветной Твоей трубе,
слух мой пёстр,

зрение зрит, морям
отдано, впившись в их
воздух пространств живых,
зрение моё — ростр.

как мне от этих зорь
отвернуться теперь,
утренних ли, вечерних, с плеч
долой и лечь?

если я боль и хворь,
если трухляв мой дом
и, точно калёным клеймом,
временем мечен,

и Ты говоришь: вторь
тем, кто вот: земли вещество, —
объясни (ведь Ты — до Всего),
что значит — вечн?

и зачем смерть
и мольбы: дай мне пить?
мудростью дышащего насыть,
умилосердь.

Анна Маркина



Кукольня

Роман

...Преврати дождь в град, день — в ночь,
хлеб наш насушный дай нам днесь, гласный
звук сделай шипящим, предотврати крушение
поезда, машинист которого спит.

Саша Соколов

Кукла Маша, не плачь,
Кукла Саша, не плачь,
Кукла Даша, не плачь,
Наташа, не плачь...

«Иванушки International»

1. Обход владений

— Ку-ку! — крикнула птица. — Ку-ку!

Он вынул из кармана перепачканного плаща блокнот.

Прочитал на памятнике:

— Мокряков Семён Николаевич. 12.10.1961 — 05.01.1993.

Скопировал золочёную надпись — не размеренно, как было на граните, а кое-как, тупым послунявленным карандашом, каракулями, напоминавшими вязь кладбищенских деревьев. Перевёл на пузырящийся и отпавший наполовину от блокнотьеи пружины листок. Записал в столбик прочих имён и дат.

А на соседнем памятнике — овалный портрет ребёнка. Девочки восьми лет с завитками у лба. Крылатая улыбка, отпущенная в расшатанный мир, — улыбка непростая, с упрёком. Дети так умеют смотреть, что стыдно становится. Стыдно не за конкретное, а в целом. За тело своё человеческое, погрязшее, за помыслы. Виден воротник белой блузки. Но думаешь, что это только на фото — белое, отглаженное, а в жизни не была прилежницей, была бунтарка, сорвиголова, с разбитыми локтями,

Анна Маркина — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Автор книг стихов «Слон» (2014), «Кисточка из пони» (2016), «Осветление» (2021), «Мышеловка» (2021) и повести для детей «Сиррекот, или Зефировая Гора» (2019). Печаталась в журналах ProSodia, «Интерпоэзия», «Юность» и др. Победитель в номинации «Детская литература» премии «Восхождение» Русского ПЕН-центра (2021). Участвовала в проектах СЭИП и АСПИР. Живёт в Люберцах Московской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

Журнальный вариант.

йодом на коленках. Соратница в беготне и налётах на дикие яблони. И брошка готовится отлететь от ключицы — стрекоза — вот-вот отправится в мир недоступный за хозяйкой.

Мокрякова Дарья Николаевна. 05.05.1995 — 21.06.2003.

— Да-ша, — попробовал на звук полушёпотом.

Задумался: «Шелестит».

Строгие сосны, обступившие могилы, качались и скрипели.

Отчего-то проплыло в памяти: «Мёртвых человеческих телес, кроме знаменитых персон, внутри градов не погребать...»

Распоряжение Петра нашего Первого от 10 октября 1723 года.

Петра нашего, борца с бородами, которые бояре даже после стрижки таскали в карманах и завещали похоронить с собою, чтоб честь их, будучи обрублена, не утратилась. Петра нашего, борца с алкоголизмом через привязывание семикилограммовых медалей: напившись буйно, получи в полицейском участке и носи согбенно на груди, чтоб узреть, как грех к земле тянет. Ревнителя стоматологического искусства, любившего драть зубы, временами — здоровые, для усвоения профессиональных навыков. Добытчика голландских тюльпанов, повелевшего хорька считать сусликом, к ботинкам лезвия привязывать и на этом рассекать по льду да вешать всякого укравшего из казны больше стоимости верёвки.

И сразу — мысленная волна внахлёт: «Указала императрица Анна Иоанновна в 1731 году отвести для погребения особые места за городом под названием кладбища».

Но ни Петра нашего, ни царицу, восседавшую в праздности среди шутов и карлиц да любившую приложить с балкона пулю пролетавшего мимо воробья, или какого зайца в парке, знавшую горечь утраты мужа молодого от перепоя, не слушали. И даже восприняли в штыки — знай себе хоронили на городских погостах — быть гостю на погосте... Пока чума не потеснила.

Тут Николаю Ивановичу Зелёнкину, делавшему опись могил для труда по некрополистике Нижегородской области, пришлось отвлечься от исторических мыслей. С правого боку, непонятно откуда вылезший, по майским хлябям пружинил неопрятный, окутанный дождевиком человек лет пятидесяти.

— Твои? — спросил тот, установив наклонно тело у облезшей ограды Мокряковых и прикрепив взгляд к незахлопнутому блокноту на пружинке.

— Тут все мои, — ответил Зелёнкин, убирая записи и карандаш в глубокий, начинающий отходить по шву карман.

— Прально, — кивнул посетитель. — Человек человеку свой.

Николай поднял с травы поношенный рюкзак. Одна лямка была вырвана с нитяными сосудами и болталась несуразно. Набросил другую лямку на плечо и дал понять, что продолжать разговор не намерен.

— Выпьем? — предложил тот, в дождевике, опасаясь отбытия единственной компании.

Тело его стояло наклонно: было ясно, что он — уже.

— Не пью.

— И за своих не пьёшь?

Пожал плечами Зелёнкин:

— Зачем за них пить? Им этого не нужно.

Собеседник произвёл ещё один малоцельный кивок.

— А я к отцу пришёл. Раньше в Пеньках жили, часто ходил. А переехали — теперь хрен добраться. Автобус и шесть километров по лесу. — И, поразмыслив, добавил: — Грязно тут.

— Кто отец был?

— Механик. Давно помер. Машины слушать умел. Как врач. Хоть стиралку, хоть трактор. Приложит ухо и слышит, где поломано.

— Звали как? — Николай опять приготовил блокнот и карандаш.

— Проталин.

Зашуршали листы, заперебирались.

— Л.С.? 1954-го?

— Он. Лев Семёныч, — обрадовался мужик. Но тут же напрягся и сморщил лоб. — А ты откуда знаешь?

— Всеведаю, — скорее, для устрашения, чем для правды пояснил Зелёнкин. — А скончался от чего?

— Так пил сильно. И помер.

— Как курляндский герцог Фриндрих Вильгельм, муж Анны Иоанновны, — припомнил некрополист.

И дописал в блокнот Льву Семёновичу в междустрочье: «Был механиком. Слушал машины. Умер от перепоя».

Поправил рюкзак на плече:

— Пойду.

— Ну, бывай, — ответил другой и отхлебнул из бутылки.

Жалко было Николаю оставлять Мокряковых в компании мужика проспиритованного, особенно Дашеньку, но сил никаких не было на него. Хотелось отдохнуть поскорее, приткнуться к травам, растущим под боком сосны, раскинуть кости на майской непрогретой земле.

Терзало, что Пеньковское кладбище он не успел изучить до конца. Ещё целый угол оставался, могил двадцать пять, почти въехавших в лес.

Но не сию минуту. Вначале спрятаться между деревьев, отсидеться, пообедать. Сколько он уже в пути? В лесах и полях время теряется: понедельник не наступают, а ходят задними тропами между камней и городских коробок, от вторников только отзвуки с громовым рокотом доносятся, среда растворена в окружающем и в учебнике за второй класс, в четверг ветрено, темно, вечереет, чертят хвостами трясогузки и вертятся белки. А что в пятницу? Может ли сегодня быть пятницей? Отчего ж не может... Но достоверно не отсчитать.

А надо бы. Потому как в университет следует вернуться к 12 мая разогреть души студенческие, ещё невразумлённые, науками и языками.

Упомним — начал он предприятие 29 апреля после обеда, проведя две пары. Сел в автобус и пустился по южному берегу Оки в Великий Враг, а оттуда пешком — и деньгам экономия, и новые места разведать. И двигался зигзагами: от намеченной деревни к деревне встречной, от умышленного к случайному. И был на Румянцевском, Нагорном, Комаровском, у Ближнего Борисова, Богородского, а потом отвернул, куда, может, и не следовало, южнее в леса, и наткнулся тут на Пеньковское, которое посоветовала старуха в одном из посёлков. Намотал километров 80... Впрочем, не отследишь.

Записи предстоит разобрать.

Получается, в обходе он неделю. Выдвинулся в пятницу. И сегодня тоже пятница, шестое мая. А возвращаться дня через четыре, выйти на дорогу

и — на автобусе... или попутку ловить? Не возьмут только. Обросшего, несвежего, бородатого, в заляпанном плаще, расточающего запах немывтого тела. Кому нужен? А если возьмут, — то нос начнут совать: что приключилось. Уж больно вид бомжарский. Что тогда отвечать? Ходил по кладбищам, перепись делал? А спросят: зачем перепись, зачем ходил, а не ездил, как отвечать? Нет уж, лучше соврать, что сторожем здесь на одной из дач... да и запил от тоски, себя позабыл. Это нашему человеку понятнее, чем в покойниках копаться.

Зелёнкин приглядел местечко под орешником на пригорке, расстелил пенку, достал из рюкзака нож и банку горбуши натуральной, открыл, жадно втянул с крышки солёную жидкость. Пальцами ворвался в розовую рыбью плоть и переправил её в рот.

Ноги гудели от переработки.

Чтобы отвлечься, вернулся к мыслям историческим.

Вот и продолжали в XVIII веке хоронить в церковных некрополях внутри городов вопреки повелениям. Пока чума не распозлзась. А от природно-очаговых инфекций во времена Екатерины нашей Великой защищаться не умели, хоть и пробовали ввести карантин на заставах: в Боровске, Серпухове, Калуге, Алексине, Кашире, Коломне, где всякого пассажира и пешехода держали по сорок дней. Но какой там карантин, когда солдаты утоплены в войне, а территорий не измерить, не огородить... Быстро пробралась бубонная зараза в град старопрестольный. Сожгли госпиталь от греха подальше, закрыли суконную фабрику, приспособили монастыри под изоляторы, повесили замки на общественные бани, — а болезнь буянила. Повыдергали из тюрем отребье, нарядили по форме в вощёные рубахи, специальные рукавицы и вручили им тела для погребения: заразятся — этих не жалко. Сенат издал указ: запретить похороны на территориях церквей, а погребать в специальных местах за пределами города. «Чтоб кладбища учреждали в удобных местах, расстоянием от последнего городского жила по крайней мере не ближе ста сажен... И когда не плетнём или забором, то и земляным валом велеть их обносить, но токмо бы оный вал не выше двух аршин был, дабы через то такие места воздухом скорее очищались...» Но народ был несознательный, к санитарным мерам имел сопротивление: свои заражённые дома сжигать отказывался, только скалился, чурался, протестовал и вёл себя неразумно — прятал заболевших, а далее — трупы то под полом, то в саду, то вовсе под покровом ночи выбрасывал куда придётся. Мертвяки всплывали в общественных водоёмах и колодцах, обнаруживались во дворах и посреди улиц. Екатерина наша издала указ «О неутайке больных и невыбрасывании из домов мёртвых», да народ вместо этого ругал врачей и прикладывался к иконам... А однажды и вовсе взбунтовался, озверел, членовредительствовал, но был разогнан картечью из пушек. Однако графу Орлову, прибывшему Москве во спасение с рублем казённым и солдатами, удалось принять ряд мер и изгнать прилипчивую заразу. За это даже отчеканили медаль с профилем Орлова и надписью «Россия таковых сынов в себе имеет». Разобрался он в числе прочего и с захоронениями. А далее уж врачебный устав это дело начал регулировать.

Так вспомнил Николай и запрокинул голову.

— Ку-ку, — пробилось через лес.

Небо стояло холодное и ясное, ветви качались. Проплыл по небу большой облачный кит, загородил собой тепло и уполз далеко влево. Зелёнкин из-за этого белого небесного млекопитающего вообразил себе море, синее-синее море с белой пеной, море в эпилептическом припадке, как на бушующих картинах у маринистов, и вспомнил, что никогда не был на юге. Он обнаружил это вдруг на сорок пятом году пользования телом. И не то чтобы расстроился, но почувствовал себя оторванным

от людей, которые ездили раз в году вылёживаться на раскалённом песке, покупали раков, намазывались кремом от загара и уплетали высокие омлеты в общепите. Когда он увидит море? Никогда? Зарплаты у него кот наплакал, зато в планах: книга, газетная колонка, студенты, но главное — не это. Главное — что ехать не для кого и не с кем.

Вот так неожиданно, привязанный к хвосту китового облака, всплыл перед внутренним взором портрет девочки за оградкой, а потом и вся девочка. Даша Мокрякова стояла босиком на причале и придерживала соломенную шляпку с жёлтой лентой, тёмные завитки у лба колыхались, лёгкая юбка в оборках трепетала на ветру, и не страшны были девочке ни шторм, ни ветер, ни рычание небесное. Её захватывал шум, дождь, бьющий в лицо, она глядела разгорячёно и пылко. Потому что была храбрая, храбрее даже смерти.

— Хочу на море, — приказала она Зелёнкину, повернувшись к нему.

— И я хочу! — крикнул ей Николай, преодолевая рёв волн.

— Отвезёшь меня? — Даша говорила тоном маленького человека, который не знает отказа.

— Не могу.

— Почему?

— Ты мёртвая. Ты чужой ребёнок, — резонно объяснил Зелёнкин.

Вместе с молнией щёлкнуло — это сон.

— Сам ты мёртвый! — обиделась Даша.

В этот момент их обоих, споривших на причале, накрыло брызгами с ног до головы. Это ударила огромная ледяная волна.

Он открыл глаза. Барабанил дождь, на лице уже собирались капли. Зелёнкин скрутил пенку, поднял однорукий рюкзак и, застегнувшись на сохранившиеся пуговицы, хлопая по влажной земле, отправился делать опись оставшихся могил, а после — других могил и других кладбищ, до которых времени хватит добраться.

<...>

3. Юля Метелькова

Было так, будто я иду по улице и треснутое стекло несю.

И держу его на правом плече через газету «Нижегородский рабочий» прошлого, десятого, года; в ней губернатор посадил яблоню в госпитале ветеранов и прошёл во главе двадцатитрёхтысячной первомайской колонны.

Так несю стекло, чтобы не порезаться.

По другую сторону, за трещиной, — мир.

И в нём ржавые трубы; сбоку от них — шалаши из коробок, там же пацаны гогочут — чё, как. Набережная, Ока с солнечными стёжками, пристань Южная. Ларьки с овсяным печеньем, булками и сигаретами, воробы на люках. Достроенный, но ещё не открытый пятиглавый храм с зелёными крышами и колокольней. Автозавод, оранжевые троллейбусы, дырявые дороги. Кинотеатр, дворцы культуры с кружками на вкус и цвет — да, не очень-то развернёшься. Серые панельные коробки, все как одна, и через дорогу — частные домики с низкими оградами и калитками на засовах.

А стекло моё мутное, в пыли, под усталостью. Вот так я смотрю — через грязный стеклянный омут.

Всё чистое завязала в узел и убрала во внутренний тайник, чтобы не надругались, чтобы не выдернули из меня последнее.

Осталось внешнее — напоказ. Такое, у которого стонут ноги на башнях каблучков. Такое, что горячим железом закручивает тёмные волосы в локоны, накладывает густой тон и голубые тени, чтобы спрятать кожу, чтобы спрятаться. Это оно нащупывает себя на чужой кровати и шагает на работу. Дорога оборванная, по краям под обувью шевелится гравий или разъезжается грязь. Оно открывает дверь ледяными ключами, садится за стойку, воркует над телефоном, лепит на лице улыбки и повторяет: «Двадцать пять процентов скидка на педикюр по четвергам», «ведётся запись на массаж горячими камнями», «стрижка на длинные волосы...» Потом это отдельное едет в универ, чаще не едет, болтается по городу или дрыхнет на лекциях. Только бы не домой. Витает в облаках. Кто-нибудь звонит, и оно идёт в гости, садится в машину, гуляет, грубит кондукторам и просто бродит по ночному городу. Только бы не домой.

Настоящая жизнь — по другую сторону стекла, на другом берегу, за пеленой. Это не моё. Чужое и чужое. А мостик на тот берег, к людям, не достроен.

Я мечтала сбежать ещё в школе. В Питер, например. Снять комнату с высокими потолками, устроиться на работу, смотреть на фонтаны через дождь, бродить тропинками из школьной программы — там, где ночь, улица, фонарь и Медный Всадник... Зимовать у знакомых, заказывать капучино в кафе, зависать на уличных концертах.

Несправедливо это: кому-то с рождения деньги и любовь, а кому-то обшарпанную однушку на улице Патриотов. Улица Патриотов, на которой живут люди, ненавидящие всё вокруг... Вечером и не считаешь толком: дома висит загнивающий свет, потому что в люстре сдохло два патрона из трёх. Обои пузырятся от старости. А отчим оккупировал диван возле телика и врос туда, как Ленин в постамент. И не дай бог встанет, не дай бог друзей позовёт.

Так бывает часто. Тогда я лежу в комнате, под покрывалом, как на пороховой бочке. Слушаю их пьяные бредни и думаю, лишь бы меня не трогали.

Лежу и думаю о маме, которой нет уже семь лет, а мне всё грезится — есть. Как она приносит из магазина сырки глазированные, или шныряет-ищет грязное бельё стирать, или как она плачет в кухне, и мы строим планы — изгнать Вовку, он совсем распоясался... и не выгоняем. Ещё взлетает в памяти: пододеяльник — вместе заправляем кровать, и огуречный запах крема на её руках, и чёрно-белые советские фильмы.

Но нет её. Есть только я и мир за стеклом.

А что я?

Имя моё — улей, пчелиная возня, гудение, жжение после укуса и ледяная вода на ранку. И соляной компресс. Так всё горит внутри. Яд и холод.

Имя моё — лёгкость летняя с пенкой на мамином варенье, с резкой осокой на берегу реки, с багровыми пятнами на пальцах от перезревшей вишни — с птицами — фьюль, фьюль, с дребезжанием велосипеда из комиссионки — июль.

Имя моё — ветренность, побег, вороватый ветер в форточку, шевелящий тюлевую занавеску на кухне, глоток свежести, отрез свободы.

Имя моё — волчок, крутящий момент, и пять ошибок в задаче по физике, не усидеть на месте — бежать, бежать.

Имя моё — шальное, ранящее в ногу и в сердце, боль и скорость, то, чем дразнили, а оно не смешное.

Правда, я его хорошо знаю!
Он мне даже книжку подарил дорогую.
Не в том смысле, ты чё! Он же совсем того...
Просто мой препод.

Помогал готовиться к экзамену по английскому. У меня была проблема с пересдачей, личного плана. И однокурсница к нему посоветовала пойти.

Я же из Нижнего как раз. Это в прошлом институте было. Я там вначале нормально училась, а потом запустила всё. Несчастливая любовь, все дела. Хвосты накопились, но с английским самая жопа. Там преподша, бабка-кабачок, меня просто ненавидела. Но всё к лучшему. Всегда хотела уехать.

Меня вызвали в деканат. Орали. Я, на самом деле, терпеть не могла этот Пед. Сидят там, в потолок плюют. А расшипяты... Того и гляди змеи из ушей ползут.

Особенно главная их тётка, Светлана Матвеевна!.. Шипела: куда твои родители смотрят, такие, как ты, занимают бюджетные места, таскаются по мужикам все пять лет, а потом в школы идут работать, и в кого их ученики, спрашивается, вырастают?

Но я себя в обиду не дам, ты знаешь. Я ей сообщила, что у меня хотя бы есть по кому таскаться в отличие от некоторых, которые тут штаны просиживают и жиром обрастают, а потом от недотраха орут на всех подряд.

И вышла. И дверью хлопнула.

Не могла я себя заставить тогда учиться. Очень мне было плохо. Это называется «отсутствие мотивации», так? И после работы сил никаких не оставалось. Моталась вечно по гостям — попойки всякие; не высыпалась. Ну, бесилась, короче.

Естественно, после этого они выкатили вопрос об отчислении.

К ректору я не могла пойти.

Ну просто не могла.

Ага, разбираться бы он стал! Он меня больше всех остальных ненавидел.

Потому что, потому —
промычал телёнок «му».

Да он и есть несчастная любовь, ясно? Это всё из-за него и получилось. Какой же мудака! Зачем я с ним связалась?! Вот реально — любовь зла.

А я тогда очень боялась, что меня выпрут. Почему-то была уверена, что это мой потолок: спасибо, что вообще поступила. Мне все вокруг это в голову вбивали, я и поверила. А вон нормально, оказалось, котелок варит. Не Педом единым.

Мы сидели с Олей, моей однокурсницей, как-то в начале лета в столовой, после того, как я неуд схлопотала, и я у неё под макароны с котлетами пыталась выпросить помощь. А она тараторила сквозь зубы:

— Какой тебе, Метелькова, английский, когда ты двух слов связать не можешь? Ты знаешь, куда мы уже за этот год ушли? Там перфекты давно со всякими континуисами, мы Моэма дочитали в оригинале, а ты что? Ландон из ээ кэпитал оф Грейт Бриттен?

Она на меня сердилась, потому что я с ней больше года не общалась, а раньше мы много времени проводили вместе. Она мне всякие шмотки дарила, в кино ходили. Потом этот мудака мне всё запретил, а потом я страдала — вообще ни до кого дела не было...

Теперь уже ни за что такого не повторится — чтоб мужик мне указывал: где, что и с кем. Так что имей в виду.

В общем, она сказала, что мне нормальный препод нужен в любом случае, а на самостоятельные занятия я быстро забью. Надо, чтоб кто-то контролировал.

Я надеялась, что Оля меня подтянет. У неё пятёрка была. Но она не хотела со мной возиться. Помню, сидела я над столовскими рогаликами и чуть ли не плакала. Тербила кончик рукава водолазки. У меня ещё запястье ныло тогда. Потому что отчим накануне хватанул, синяки остались. Вот тогда Оля мне и посоветовала поговорить с Зелёнкиным:

— Он берёт учеников. И вроде недорого. Одну знакомую ещё перед поступлением нормально натаскал по литре.

— Я даже не знаю, кто это. И при чём тут литра? Мне английский.

— Он всё может: хоть историю, хоть литру, хоть языки. Там шарики оного. Мы же у него в первом семестре были на курсе. Зарубежка, ну? Про кельтов и их обряды всё твердил...

Вот тогда я и поняла, о ком речь. До этого даже имени его не знала. Такие люди сразу стираются из памяти. Как будто агент из «Людей в чёрном» нейрализатором шёлкнул. Серенький такой, лет пятидесяти. Лысина, проседь по бокам, борода подстриженная, лоб высокий. Глаза как глаза, нос как нос. Не особо симпатичный. В общем, внешне неприметный совсем, только странный. Экзамен еле помню, просто списала прямо с книжки. Не ходила почти на пары. Ему пофиг на всё было, четвёрку поставил — и ладно. Придёт и бормочет что-то про эпосы бесконечные, трубадуров, войны, рыцарскую бодягу. Как будто не людям рассказывает, а сам себе. И прыгает с темы на тему: от Данте к собаке, которая его утром за штанину прихватила, от чумы и жизни после смерти к друидам каким-нибудь. Мы его так и называли: Продруид. Знал он реально кучу всего. И ходил почти всегда в одном и том же: свитер, плотная рубашка или коричневый пиджак — всё мешковатое, неопрятное, как будто на лавочке ночевал. Но не пил, ничего такого. Казалось, что один жил. Но потом он мне сам рассказал, что с родителями. Я даже видела их — просто оукленные старички. Кто бы мог подумать! А в универе про семью его вообще никто ничего не знал. Но все обсуждали, что он девушкам в глаза боится смотреть и старается с ними даже не разговаривать, спрашивает всегда быстро. Если поздороваться, чуть ли не отпрыгивает. Девчонки ржали — типа он девственник. От меня вначале тоже шарахался, но потом привык.

— Продруид? Он же стрёмный, — попыталась я тогда отбрыкаться в столовой. — Хочешь меня на него спихнуть? Спасибо, милый друг!

— О, теперь ты вспомнила милого друга! — рассердилась Оля. — А как по году не звонить, так нормально? Разбирайся-ка сама, знаешь ли!

Даже поднос не отнесла на тележку с грязной посудой. Отправила к упырю, а мне ещё и поднос за ней убирать.

Я потом сидела там и рыдала в рогалики. И так засада по всем фронтам, а ещё и Оля психует.

Было уже поздно, вечер. Но во мне прямо гром гремел. И я назло решила сразу искать Зелёнкина. Как бы радуясь про себя: так доставайся же я кому ни попадя! Знать бы заранее, соломки бы подстелила.

Поскольку тогда я не помнила его имени, подошла к объявлениям на кафедре зарубежной литературы и нашла в расписании занятий: «Зелёнкин Н.И.».

Долго вспоминала, как расшифровать инициалы. Николай Игоревич или Николай Иванович. Вряд ли Никодим или Никита, вряд ли Игнатъевич или Ильич. Даже не верится сейчас, что когда-то могла этого не знать.

Заглядывать на кафедру было неудобно, вдруг он там сидит — как его тогда окликнуть? Поэтому я просто ждала. А потом услышала шаги.

Слушай, не надо на него наезжать. Просто отъехал человек. Он неплохой был. Зачем тебе это?

Нет, не знала я ни о чём.

Просто занимались английским.

Потом перестали.

Да просто экзамен сдала, и перестали.

Нет, книжку не продала.

4. *Alma mater*

Так засиделся, что пропустил время.

Родители жили на даче с апреля. Никто не шмыгал по коридору, не пылесосил и не сверлил дыру в стене, не переговаривался вполголоса на кухне, не запускал в квартиру телевизионную мешанину. Никто не хлопал входной дверью и прочими дверями, не перебивал ход работы запахами яичницы, шей и приглашениями отобедать — «Коля, есть иди», — не теребил по пустякам — «давай поглажу штаны», «вынеси мусор», «ты двое суток света белого не видел»... И ещё не молчали укоризненно, непонятно за что осуждая, не предлагали жениться и навести порядок в личной жизни. Это им непорядок, а у него каждая мысль, задача и книга на своём месте; и даже дрянной англо-русский словарь, подпирающий шкаф, и тот на своём месте, хоть и никуда не годится.

А сейчас требовалось скорее разобрать записи. Потому что все жители блокнотов (и Мокряковы, и Проталов, и сотни других) должны быть упорядочены и сведены в общий список. Он их всех заселит под красивую обложку, на которой будет оттиснуто крупными буквами: «Нижегородский Некрополь», — и станет им там веселее, возликуют они в соседстве. А то лежат, забытые и оторванные от мира человеческого, надо их людям возвратить.

И вот, пока переносил сведения с бумаги в компьютер и сортировал их, а ещё в отдельный файл собирал припасённые эпитафии, он пропустил рассвет и время выхода на работу.

Часы заголосили: коллега, не совсем ли вы тик-так? не офонарели, случаем, свои же лекции пропускаете, просиживаете тут за тетрадками и мертвецами штаны, а студенты, небось, разбежались, и как они, плачевные, будут жить, например, без Кухулина, героя ирландских саг, что являлся виновником косоглазия многих уладских женщин? да вы не изволили даже омыть своего брэнного тела и подготовить его к выходу в свет, а выспаться и подавно, воткнули тело это в автобус после обхода да и, прикатив в пенаты свои нехитрые, укоренили его в кресле и никак не приветствовали новый день и розовоперстую Эос, ни бровью не повели, а меж тем студенты уже курят у проходной и совещаются, куда бы употребить заветных три часа: на кино, променад, домашку или вовсе угрохать остаток дня на портвейн и анекдоты.

«Как-нибудь проживут без Кухулина», — процедил часам доцент кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного педагогического университета.

Но часы аргументированно передвинули стрелку с 09:50 на 09:51: вот так толкаете молодёжь на кривую дорожку, несобранный вы человек, они там томятся в аудитории, пускают друг в друга солнечных зайцев и жмурятся при майском свете, они там лепят жвачки под парты и царапают похабности, пока вас нет, они уже почти поняли, что вы

заняты важными делами и бросили их на произвол судьбы, и того и гляди, лучезарные, отправятся вон из обители знаний и предадутся своим маленьким пошлостям и ничегонеделанью, но главное даже не это, а то, что по пути к пошлостям самые правильные заглянут, конечно, в деканат и уточнят, где носит ваше благородие и по какой такой удаче им не приходится грызть гранит, и тогда уж держитесь, тогда противная методистка с дребезжащим голосом начнёт возмущаться и задавать неприятные вопросы, поэтому лучше вам, премилостивый товарищ, немедля скакать хотя бы на вторую пару, скорее покиньте помещение, пока домашний телефон не разразился руганью, в деканате, в конце концов, что-нибудь соврёт, чай, не зря в вашей коробочке хранится столько занимательных фактов — расскажете про несчастный случай или срочное задание для газеты, вперёд, скачите на всех парах!

Рюкзак с оторванной лямкой валялся в углу неразобранный и грязный. Приводить его в божеский вид было лень. Зелёнкин сорвался с места, сунул попавшиеся под руку книги, паспорт и кошелек в полиэтиленовый пакет с рекламой почему-то автосервиса, хотя машины ни у него, ни у родителей сроду не было, обулся, выскочил из дома и зашагал на работу. Вначале его беспокоила деканатская взбучка и Светлана Матвеевна с намалёванными ядрёной помадой розовыми губами, но скоро мысли перепрыгнули к недавнему труду, и в артикуляционный аппарат сами собой полезли эпитафии.

Удивительно, чего только не пишут на памятниках, какая это сокровищница с жемчугами словесности.

«Стою, наклонясь, над твоею могилой, горячей слезой поливая цветы. Не хочется верить, родной наш, любимый, что в этой могиле находишься ты», — бубнил Зелёнкин, пробегая по бордюру, чтобы не выпачкаться в грязь. И с лёгкой улыбкой и особой нежностью, как бы смакуя, повторил: «Горячей слезой поливая цветы...»

Бабулька с неотлепимой от русских бабулек-передвижниц тележкой, объезжая грязь понизу, покосилась на встречного пешехода.

Но он не обратил на это внимания и отчеканил ещё: «Жизнь... Какое это прекрасное предисловие к разлуке!»

И ещё: «Вы, листочки, не шумите, нашу маму не будите».

Последнее, про листочки, ему особенно полюбилось своей простотой и искренностью.

Вообще эпитафии нравились ему, потому что они говорили больше, чем в них звучало. По эпитафии много чего можно было понять про усопшего: образование, семья, круг общения... Эпитафия могла быть бесхитростна и наивна, а могла быть важна и торжественна, — эдакие словесные завихренья или цитаты из классиков.

Например, на одном из недавних памятников были высечены строки Цветаевой:

«Как луч тебя освещает!\ Ты весь в золотой пыли...\ — И пусть тебя не смущает\ Мой голос из-под земли».

А на юге области он разыскал четырежды Левитанского:

«Меру окончательной расплаты каждый выбирает для себя».

Непонятно зачем, но прикладывали могилу и общефилософскими изречениями, позаимствованными, например, у Майкова:

«Здесь, в долине скорби, в мирную обитель\ Нас земля приемлет:\ Мира бедный житель отдохнуть приляжет\ На груди родимой.\ Скоро мох покроет надпись на гробнице\ И сотрется имя;\ Но для тех бессильно времени крушенье,\ Чьё воспоминанье\ Погрузит в раздумье и из сердца слёзы\ Сладкие исторгнет».

Когда охранник, зевнув, поздоровался, Николай Иванович вдруг обнаружил, что уже прибыл в пункт назначения. Чтобы оттянуть момент объяснения с сильными мира педагогического, он поднялся на третий этаж и заглянул в свою аудиторию. Там, к его удивлению, несмотря на его получасовое опоздание, ещё ошивалось человек пять или шесть. Зелёнкин застенялся и, ничего толком не объяснив, стал располагаться за кафедрой. Попутно он заметил, что рыжеволосая девушка и остроухий парень, держась за руки, хихикая, спрыгнули с подоконника. С заднего ряда доносился храп уронившего голову на парту здоровяка, ещё одна студентка вязала шарф из жёлтой пряжи.

Был конец учебного года. Ему следовало читать про специфику рыцарских романов, точнее, про Парцифалья и Святой Грааль. Но в голове вскинувшийся ещё с утра Кухулин обосновался широко и исчезать никуда не собирался. Даже, наоборот, устроился там поудобнее, потому что в моменты застенчивости Зелёнкин обращался к близким темам, загораживаясь ими, словно щитом.

Он вытащил из пакета Вольфрама фон Эшенбаха и аккуратно отложил его на край стола, как бы говоря: «Извини, дорогой, пока не до тебя».

И произнес:

— Сегодня у нас повторение. Тема — кельтский эпос.

И он сказал: так-то и так-то.

И ещё так-то.

И так.

А взгляд его бегал безучастно по кабинету, лицам, углам, потолку и окнам. Но ничего не фиксировал. Потому что Зелёнкин уже перекинулся внутренне в мир потусторонний, где пировали древние воины в доспехах, носилось сто песен одновременно, жар падал от солнца на равнины радости и двигались золотые колесницы, гарцевали жёлтые, красные и небесные кони, а волны бились в берега. Он уже был в тех местах, куда плывал Бран, сын Фебала, и куда Кухулина пыталась заманить сида по имени Фанд.

Его густую, сосредоточенную речь обрубил звонок.

Студенты, не обращая внимания на то, что лекция не закончена, зашелестели и потянулись к выходу.

Зелёнкин вздохнул, вложил Вольфрама фон Эшенбаха в пакет с автосервисом и, не в силах более отдалять момент расплаты, отправился в деканат.

Он просочился в широкую дверь, бережно прикрыв её за собой, и покорно замер у входа. Там как раз развёртывались военные действия между методисткой, занявшей позицию за столом по одну сторону, и разъярённой мамашей, устроившейся по другую сторону стола, как за баррикадой. Грузная мамаша метала в неприятеля снаряды претензий и жалоб: что-то про чадо, которое незаслуженно притесняют. Желтоволосая методистка от вражеской бомбёжки уклонялась, пропуская претензии мимо ушей. Она подняла глаза на смущённого доцента и буркнула с вопросительной интонацией:

— Пришли?

— Пришли, — смиренно кивнул Николай Иванович.

— В пять часов зайдите к Светлане Матвеевне.

Сегодня у него были лекции только в первой половине дня; убивать четыре часа на ожидание не хотелось. Но он побоялся возразить. И просто виновато попятился обратно в дверь.

Зелёнкин вернулся в аудиторию и прочитал лекцию ещё одному курсу.

Наступил обеденный перерыв. Страшно хотелось есть, но в бумажнике и карманах мелочью наскребалось разве рублей пятьдесят. Он стал спускаться в столовую и на лестнице влился в широкий горлающий поток студентов. Из потока в него несколько раз метнули равнодушное «здрасти», на которое он только и успел растерянно моргнуть, прижимаясь к стенке, чтобы его не снесло со ступенек.

Он ещё раз перебрал свои богатства и сделал вывод, что может позволить себе либо два пирога с чаем, либо борщ за сорок четыре рубля с тремя кусками хлеба. Отстояв двадцатиминутную очередь, получил тарелку борща с дрейфовавшим в красном водоёме майонезным айсбергом. Осмотрелся в поисках свободного места (почти всё было занято) и приткнулся в самый угол, возле грязной посуды, куда никто садиться не хотел, потому что там постоянно толкались люди с подносами.

Он редко ходил в столовую: учебных часов у него было негусто — обычно успевал пообедать дома, или заворачивал с собой бутерброды, или вообще в пище не нуждался. Но если уж пировал на казённых харчах, то всегда один и всегда в углу, чтоб никто не подсел.

Потом поднялся на кафедру. Две женщины-коллеги поздоровались и продолжили болтать о скидочных купонах на летнюю обувь.

Никто и не подумал спросить «как вы провели праздники, Николай Иванович?», или «где это вы пропадали, Николай Иванович?», или «не завалилось ли у вас такой-то книги, Николай Иванович?». Но он был только рад, что в его дела не запускают длинные носы.

Зелёнкин, стараясь не привлекать к себе внимания и не шуметь, откопал среди распечаток, ведомостей и канцтоваров учебник по древнеегипетскому языку и читал, пока часы не возвестили о чайно-английском времени.

Перед деканатом ему показалось, что сердце его заходило туда-сюда по всему организму.

— Здравствуйте. Можно? — со страдальческим выражением, будто вступая на минное поле, поинтересовался он, просунув голову в кабинет.

— Можно-можно! — прищурившись, как бы готовясь опустить молот правосудия, округляя ярко-розовые губы, ответила Светлана Матвеевна. — Почему не предупредили об опоздании, Николай Иванович?

У него, конечно, всё перепуталось, и он сказал: так получилось и ещё работа держала и ещё у него ведь нет мобильного телефона и ещё приболел и ещё звонили из газеты надо было срочно сдать статью и ещё несчастный случай — поскользнулся по пути и упал в лужу пришлось побарахтаться и спешить домой переодеться и ещё совсем потерял счёт времени и ещё он опоздал всего на полчаса и дочитал лекцию как положено и ещё кому надо тот дождался и ещё он покорнейше просит простить и не держать зла.

На что Светлана Матвеевна, переходя с успокаивающе-снисходительного тона на крик, заметила: а что значит так получилось и почему это какие-то статьи для районных газет он ставит выше своей основной работы с извините окладом может быть ему не нужно место его и оклад и он собирается устроиться в штат газеты и пусть пишет себе на здоровье в любое время и ещё что-то не видно чтоб он переодевался такое ощущение будто он все праздники в этой самой луже и провалился и вообще жениться ему надо для аккуратности и свежести и ещё пусть ставит будильник если теряется во времени и ещё веет от такого поведения лютой безответственностью и она настоятельно просит его приобрести уже мобильный телефон или хотя бы звонить из дома при необходимости.

Николай Иванович выслушал покорно. И даже добавил жалкое «извините». Хотя проскочила у него маленькая мысль: «Сейчас бы маму сюда и папу, и пусть бы они его защищали, как раньше, а то сидят на даче без дела». Ещё он подумал, что Светлана Матвеевна не имеет права так разговаривать с ним, человеком, кое-что из себя представляющим. И следом подумал, что ничего тут не поделаешь, такой он, видимо, жалкий и погранный, что можно с ним вот так.

Он выскочил, разгневанный, из деканата и пошёл собираться.

«Ну, погоди! — полыхало внутри. — Сволочь. Репейник. Ты у меня ещё подавишься своими словами...»

Но вместо того, чтобы заставить Светлану Матвеевну пожалеть о сказанном, Зелёнкин взялся за дополнительную работу по консультированию отстающих. Остаток мая пролетел быстро. Началось лето. Зелёнкин ждал с нетерпением, когда, наконец, пройдёт июнь и он освободится для личных трудовых подвигов. Он ненавидел экзамены. Эта процедура пугала его больше, чем ребёнка — уколы. Утешала только мысль о том, что скоро учебный год закончится и можно будет вернуться к разведке захоронений.

Поэтому, когда вечером у кафедры его подстерегла студентка: «Здрасти. Я к вам...» — единственное, о чём он подумал, — это как от неё побыстрее отделаться.

Он с ужасом разглядел её ноги в колготках в вульгарную сеточку, короткую юбку, еле закрывающую причинные места, тонкие бретельки чёрного топа, длинные каштановые волосы, веки с яркими синими стрелками, бледную кожу, выраженные скулы, тонкие запястья. Он разглядел на одном из запястий мешанину цветов на коже: что-то отвратительное — жёлто-синее, вздувшееся, от чего веяло неприятным происшествием.

В нос ударило приторными духами.

— Ко мне?

— Я Юлия. Юлия Метелькова, второй курс. Помните меня? Я у вас была на зарубежке.

Он выдал что-то нечленораздельное, смесь понимания и задумчивости, смесь да и нет.

Но, конечно, он её помнил. И её бледность помнил, будто бы выбеленную кожу, и часто оголённые руки, и то, как лицо было разрисовано. Ещё она завешивалась побрякушками, и они звенели при движении... И то, что ей было всегда неинтересно, он помнил. Она, если уж приходила на занятия, то перешёптывалась с парнями, или играла в морской бой, или просто рассматривала ход пылинок в солнечных лучах, или, чаще всего, вовсе беззастенчиво спала у него под носом на втором ряду.

— Ко мне? — ещё раз на всякий случай спросил он, всё ещё надеясь на ошибку.

— Я хочу к вам ходить на дополнительные. Мне нужно пересдать английский.

Зелёнкин вспомнил, как она держала экзамен. Ровным счётом ничего не знала. И пахло от неё так же навязчиво и сладко. И сидела она, наклонившись через стол, и улыбалась. И как его будоражили и одновременно отвращали открытые плечи и глубокий вырез кофты, и какая она вся была: опасность, и взрыв, и тайна. Он нарисовал в её зачётке «хорошо» с круглой росписью справа. «Удовлетворительно» он ставил только отпетым идиотам. А «отлично» почти никому.

— Не беру сейчас учеников. Другая работа. Много. Научная. Книга, колонки, переводы...

Его ошпарило от мысли, что их встречи будут продолжаться.

— Пожалуйста. Всего два раза в неделю...

Он машинально зашёл на кафедру, а она, не отлипая, держась у его левого бока, проследовала за ним и, когда он, обессилев, упал в кресло, примостилась на краешек стола, как раз рядом с недочитанным древнеегипетским. Методистка, отрываясь от документов, глянула на гостью встревоженно.

— Я осенью пересдавать буду! Ну, пожалуйста.

Он отодвинулся на кресле подальше к стенке, чтобы не находиться в пугающей близости от неё.

— Мы, это, поднажмём. Не бросите утопающего, ну?!

Она сложила ладони в знак мольбы. Её большие дешёвые серьги колыхнулись. Зелёные глаза смотрели с вызовом.

Ему показалось, что методистка подслушивает и уже подозревает их в чём-то плохом, видит его плотские мысли. Он разволновался и постарался свернуть разговор.

— Я беру триста рублей за занятие, — предпринял он последнюю попытку отвязаться.

— Окей! — обрадовалась Юля и, сделав вид, что плюнула на руку, протянула её с размаху для пожатия.

— Будете в библиотеку приходить, где я занимаюсь, я вам назначу время.

Она восторжествовала.

Зелёнкин опасно пожал её холодную резкую руку.

5. Живой Гугл

Стрелки часов сидели в нижней позиции, но собирались двинуться в направлении семи. Затархтел чайник. Андрей Ромбов выполнил последнюю серию отжиманий. Принял душ. Почистил зубы. Достал резиновые перчатки, губку и чистящее средство, вымыл ванную. Не смог остановиться и вычистил раковину. Включил ноутбук. Завёл музыку. На шипящую сковородку разбил три яйца. Заварил чай. Порезал огурец к яичнице. Съел завтрак. Уложил в сумку два контейнера с едой, заготовленные с вечера. Стоя у зеркала, расчёской разбил кудри вправо и влево от пробора. Носовым платком стёр несколько пылинок с поверхности. Изучил в зеркале поджарую невысокую фигуру, лицо с острым подбородком, янтарными глазами и узкими губами. Остался недоволен. Захватил банку цикория с собой и покинул квартиру.

Завёл баклажановую девяносто девятую (куплена год назад, перед выпуском из академии, — первая машина, выдавшая виды, но своя). У Машины было имя — Беатриче, или Бет, потому что героиня фильма про Труффальдино была предметом Ромбовских желаний в школе. Накануне прокатился дождь, лобовуха покрылась разводами, бок машины — грязью. Пришлось сделать крюк и заехать на мойку. Бет заметно посвежела, приняв душ.

Кивнул Витьку, дежурившему на проходной. Оба были молодняком. Пока на подсобных работах. Так сказать, поражены в правах. Не то чтобы дружили, но иногда ходили в бар. Ромбов пил безалкогольное пиво, а Витёк — алкогольное. Познакомились они три месяца назад, когда Ромбов пришёл в отдел.

Недавний выпускник вступил в должность оперуполномоченного Центра «Э». И его тут же отправили воевать с бумагами.

Война шла не на жизнь, а на смерть. Бумажное воинство наступало. Приходили кипы таблиц. Их надо было заполнять. Выдавать нормы. Ссылки на профили людей в соцсетях, если те гонят там экстремистскую ересь. Находить картинки со свастикой. Вычислять прыщавые четырнадцатилетние морды и вызывать на воспитательные беседы. Прыщавые морды тряслись и лепетали невнятное (в духе «я больше не буду»). Вести бумаги. Количество профилактических бесед нормировано. Мониторить форумы. Подстрекать, если надо. Выявлять шибанутых на голову. И ещё — бесконечное количество жалоб. Бумажных жалоб, электронных жалоб. Это всё градом валилось на песочно-кудрявую голову Ромбова.

— Лепи 282-ю, Гугл, — так к нему обращались, — «возбуждение вражды в интернете».

И Ромбов лепил. Всё как требовалось. Причём лепил не на скорую руку. Не чтобы отделаться. А осознанно. Повёрнутым и отморозкам.

Все презирали такую работу. Понимали: надо, Федя, надо, но роптали и пытались увильнуть, пока можно.

Ромбов действовал как машина. И поэтому сразу не понравился.

Он с исполнительностью робота принимал бюрократические тяготы. Делал отчёты, справки, справки на справки, докладные по справкам, докладные по рапортам, рапорта на справки, справки на рапорта. И фигачил всё это с такой результативностью и покорностью, что его сразу записали в просиживатели штанов и ошпарили высокомерным пренебрежением.

— Гугл, ищи свастики.

У него были странные ритуалы.

Таскался на работу с банкой цикория. Обычная жестяная банка, зелёная. Вечером уносил с собой.

Сперва подумали — жмот.

— Да кому сдалась твоя кофя? — шутил старший оперуполномоченный Михаил Медведев. — Чё ты её таскаешь туда-сюда? На полку поставь.

— Цикорий, — Ромбов невозмутимо барабанил по клавиатуре, уставившись в экран.

— Это что? Вместо кофе?

— У меня ЗОЖ.

— И зачем его с собой носить?

— На удачу.

— А если на полку поставить, удаче всё, хана? — ржал Медведев, устроившись сбоку.

Ромбов смотрел стеклянным взглядом:

— Можно не стоять так близко?

Медведев тогда понял: долбанутый — лучше держать таких подальше от серьёзных дел.

Ромбов ничего не понял. Он протёр влажной салфеткой стол и поправил задетый дырокол, чтобы тот стоял перпендикулярно клавиатуре.

В его углу у каждой вещи было своё место. Предметы занимали свои позиции, как в армии. Мелочи вроде чайной ложки или степлера, откочевавшие к соседям, быстро возвращались из плена. Любая легкомысленно брошенная папка устраивалась в ровную стопку к остальным.

Чудило — это мягко сказано.

В Центре по борьбе с экстремизмом не хватало профессиональных кадров. За два с половиной года его существования кто-то из оперативников ушёл в другие подразделения, кто-то — в бизнес. Смена находилась со скрипом. Стали привлекать молодёжь.

Начальнику отдела позвонил бывший сослуживец, который теперь окучивал младую поросль в Академии МВД:

— Парень — чудило, с социализацией проблемы. Но мозги — как у Ботвинника. Бери.

В назначенный день Ромбов прибыл знакомиться. В ответ на вопрос «почему к нам?», отчеканил:

— Хочу защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан Российской Федерации, противодействовать преступности, охранять общественный порядок, собственность и обеспечивать общественную безопасность...

Сложно было понять — он всерьёз или издевается.

— А что-нибудь кроме федерального закона о полиции у вас в голове есть?

— Что-то есть, — будущий сотрудник еле заметно несколько раз дёрнул головой.

Было похоже на нервный тик.

— Ну, раз уж вы так любите цитировать... Что там «о противодействии экстремистской деятельности»?

Ромбов не моргнул и глазом:

— Статья?

— Седьмая.

— Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносятся предупреждение в письменной форме о недопустимости... — отчеканил, глядя в окно, так, будто считал текст с серого неба.

Полковник ухмыльнулся — характеристика не врала.

— Лучший на курсе, КМС по лёгкой атлетике, школа с золотой медалью, идеальная память... Как будто тебя для компьютерной игры рисовали.

Ромбов проигнорировал это замечание.

Начальник молчанием удовлетворился и спросил то же, что у него самого жена спросила вчера, разгадывая кроссворд:

— Вид спорта по преодолению препятствий собакой с проводником?

— Аджилити, — равнодушно произнёс испытуемый.

Начальник кивнул, хотя правильного ответа не знал, поднялся, жестом показал идти следом. Он подвёл Ромбова к Медведеву.

— Вот тебе, майор, подкрепление. Живой Google.

Была бы воля сослуживцев, новенький вылетел бы как пробка. Но отдел находился в положении корабля с пробитым корпусом. Не до мелких дрызг.

Месяц назад два опера попались на вымогательстве. Дело было громкое, скандальное, всем влетело.

Однажды вечером двое вооружённых борцов с экстремизмом ворвались к местной гадалке, которая мирно развивала бизнес. После её участия в телепередаче народ валом валил сверять совместимость по знакам зодиака. Никакие карты не предвещали, что на пороге нарисуются два дуболома, перевернут всё в офисе

с бордовыми портьерами и изымут документы якобы для доследственной проверки. Чтобы проверка закончилась благополучно, требовали сто тысяч рублей. Однако жертва вымогательства и сама оказалась не лыком шита и, пообещав подумать, написала заявку в следственный комитет. Проблему пробовали замять, на гадалку завели дело по подозрению в мошенничестве. Но ситуация разрасталась как снежный ком, катящийся с горы. Когда выяснилось, что оперативники опекали в городе целую сеть центров парапсихологии и коррекции судьбы да ещё несколько частных лавочек, последовали аресты.

Теперь все в отделе старались быть чище слезы младенца. Отдел жил понуро, под неусыпным присмотром, с покалеченной репутацией.

Просили свежую кровь — вот вам златовласый Одиссей бумажных мореплавателей. Ну подумаешь, таскает с собой жестяную банку с коричневой бурдой, бывает и похуже.

Ромбов включил компьютер. Открыл несколько десятков вкладок. Система подвисала. До обеда каждый день он искал свастики в интернете. Потом составлял слепок сетевой активности: перечень групп в соцсетях, ссылки на страницы людей, двигавших нездоровые идеи, характеристики на них... Скриншоты комментариев на форумах и в группах. Записи допросов. Список тех, с кем надо было провести беседу. Отдельный файл для попавшихся на нарушениях. Пока остальные жаловались на бессмысленную бумажную волокиту, Ромбов собирал карту угроз и переписывался с представителями радикальных групп.

На обед разогрел в контейнере куриную грудку, гречку и кабачки. После поехал в Пед проводить разговор с кавказцами с целью сбора данных. Более бессмысленную директиву по проверке вузов придумать было сложно. Опера прекрасно знали, что это глупость, пустая трата времени. Но Ромбову сливаться было некуда.

В стукачи приходят тремя путями. Либо по причинам идеологическим: привет, я идеальный стукач, давайте я вам буду барабанить. Либо за деньги. Либо когда взяли за яйца. Естественно, выпытывание у обычных студентов неведомых угроз ни к чему полезному привести не могло. Беседа грозила быть формальной и, более того, унижительной.

Ромбов доехал до университета. На проходной показал удостоверение и уточнил, где приёмная.

Пока ждал встречи с ректором, скатился в дремоту. Его разбудил настойчивый, сладкий запах духов. В приёмную вошла девушка. Она была в коротком платье с неаккуратными художественными дырами на рукавах. Длинные волосы, высокие каблукы, серьги до плеч с красными перьями — красивая, если бы не была раскрашена, как индеец перед последней битвой.

Она спросила у секретарши:

— Юрий Сергеевич свободен?

Секретарша глянула на неё, как на таракана, — с жалостливым презрением:

— Занят.

— А когда освободится?

— Не сегодня.

— Завтра зайти?

— Завтра его не будет.

Девушка попробовала ещё раз, заискивающим тоном:

— Мне только на пять минут. По поводу экзамена.

— Вы плохо слышите? — съязвила секретарша. — Он занят!

— Ага, — студентка разозлилась и вместо того, чтобы уйти, попыталась пробиться в кабинет ректора без приглашения.

Но замок был заперт изнутри. Тогда, подёргав ручку, она ударила в дверь носком лаковой туфли и крикнула:

— Юрий Сергеевич, вы козёл!

После чего развернулась и процокала к выходу.

Время схлопнулось. Возвращался в отдел Ромбов уже вечером.

Опрос студентов прошёл бессмысленно, как и предполагалось. Последние рабочие часы ему предстояло просидеть за обработкой обращений от населения. Ещё одно чёртово колесо бумажной работы. Кто угодно мог написать что угодно. Люди просили устроить проверку соседям, которые слушают этническую музыку, или закрыть сайт с библиотекой, где выложен «Майнкрафт», или присылали жалобы со скриншотами: «Меня обозвали жид пархатый».

И вдруг среди этой свалки, когда часы показали возвращение домой, Ромбов наткнулся на странный текст: на Ново-Сормовском кладбище замазали чёрной краской лицо ребёнка на могильном памятнике. В прошлом году это уже случилось, семья заказала реставрацию. Но происшествие повторилось. Также было известно, что вандал приложился и к другой могиле, в которой тоже была похоронена маленькая девочка. Обращение написала мать одной из покойных.

Блеснуло воспоминание.

Ромбов не мог оторваться от экрана. Он не умел бросать задачу на полпути: не мог оставить школьную домашку недоделанной, книгу недочитанной, фильм недосмотренным. Незавершённая задача жужжала где-то в затылке, словно пчела, до тех пор, пока он не прихлопывал её. Он прокопался несколько часов, но в конце концов выскреб из папковых недр нужное заявление, которое ранее было передано из ОВД и отпечаталось в памяти. Ещё об одном испорченном могильном памятнике девятилетней девочки — в другом районе.

<...>

7. Мёртвая Невеста

Тепло наползает, вперёд, комсомольцы, вся школа под лозунгом общего дела, ходи по подъездам, скреби по сусекам, выискивай залежи праха деревьев, — бумагу неси!

Все на сбор макулатуры!

Когда зимний крейсер врзается в лето и солнце взрывается возле окна, — весна. Я помню: огромный апрель, весь бежевый, словно на фотокарточках, запертых в стенке под пылью лоснящейся, этот апрель такой разудалый, весёлый такой, с летящими брызгами, ворохом света, соломкой его на столе.

К нам скоро приедет в Москву Элтон Джон, хоть мы-то, конечно, его не услышим, билетов к концерту никак не достать, и ехать нам не на что, бедным, в столицу.

Недавно корабль «Союз-33» пытался возлечь на орбиту планеты (увы, неудачно).

Ещё скоро два самолёта столкнутся, сто семьдесят восемь погибших, и сколько бессонных сограждан об этом прочтут, ведь так не бывает на свете, были потеряны целые футбольные команды, тогда «Пахтакор» вознесётся в рокочущий скрип и лазурь синевы.

Да, семьдесят девять на календаре советской пока ещё жизни.

И в рамках сего объявляем всегласно: сбор макулатуры.

А сколько мне, Коле Зелёнкину, было? Одиннадцать? Или двенадцать? Иду по квартирам, динь-дон, у вас есть что-нибудь для общественных нужд? Динь-дон, собираем бумагу, газеты, коробки, быть может, найдёте, что там завалилось, а вдруг под диваном? Смотрите-смотрите, не дремлем, товарищ! Вы пользу, вы пользу всем нам принесёте, а может, наш класс победит. Топ-топ по ступенькам подъездным ботинки, топ-топ по холодным апрельским ступенькам. Со мною два парня, те тоже топ-топ — шесть рук тащат стопки для переработки, шесть ног отбивают топ-топ, шесть глаз вопрошающе смотрят на сонных бумажных хозяев.

Добычу — на улицу под козырёк.

А там что-то странное-странное, правда. Там гроб вместе с телом, Наташиным телом, выносят. Наташа Лазова жила в нашем доме, была она — всплеск и упавшая капля, апрель, закатившийся в яму, красивая девочка, первый подъезд. Её как-то глупо ударило током, задела концом полотенца за провод, нелепо, и горе какое, и вдруг. Так вот выносили её люди в чёрном, прилежные тёмные люди, поющие ууууу, и муть протекала сквозь них, и все — словно камни смурные, со свечками ууу.

Наташина мама всё выла и выла — на древнем изводе, скорбя, причитала. Она указала в моём направлении — и два мужика подтащили за шкурку, за куртку (о, крепкая хватка на самом загривке) в толпу. Коллеги мои по бумажному цеху, Денис и Андрей, гады, сразу свинтили... Кому же охота быть втянутым в секту.

И чёрная женщина, мама покойной, вручила мне горсть шоколадных медведей в сосновом бору, затем приказала прикинуть губами ко лбу её дочки. Я залился краской, хотел убежать, но меня не пустили из круга, и я испугался до чёртиков, плакал, но женские руки взлетели на плечи мои и легли.

— Не бойся, — сказала, — ты знал ведь Наташу, смотри, это будет невеста твоя, смотри, как прекрасна она и чиста. Потом ты получишь ещё шоколадок, — и ближе меня подтолкнули.

И я, понукаемый чёрной толпою, покойницу в лоб целовал. Один раз, второй, даже третий, и после. А люди со свечками всё бормотали... Молитвы? Не знаю, скорее, заклятья, и мне всё за ними пришлось повторять: «Могла я дитя породить, могу я от бед пособить...» Холодная кожа была у Наташи, была не похожа она на себя, как глина застывшая, в чепчике белом и в платьишке синем с двойной оторочкой.

Потом уже петь прекратили, велели взять свечку и огненным воском на грудь покойнице капать. Затем мне подали два стёртых колечка из меди. Одно нужно было надеть ей на палец, другое себе. Так нас обручили.

Когда же к подъезду подъехал автобус, в портфель мне зачем-то платков насовали, уродливых тряпок, в карманы — конфет, вручили приличную фруктов авоську и даже бумажку, заветные десять рублей. И тётка взяла с меня слово, большое, как Марс, пионерское слово, хранить происшествие в тайне (ты слышишь, нельзя никому разболтать, чтоб Наташа не злилась и не приходила к тебе).

Да, я обещал.

Как только тиски чёрной секты ослабли, я вырвался и схоронился за дом, там выбросил тряпки, авоську, кольцо. Мне было, не знаю за что, очень стыдно, как будто напакостил чем-то домашним, как будто подвёл их. Про десять рублей ничего не сказал, вообще ничего никому не сказал, а после тайком накопил новых книг про животных, кассет и монгольские марки.

И месяц не минул, как мёртвая дева повадилась лазить ко мне по ночам. Бродила по комнате в ситцевом платье с пятном восковым, вся в дымке тягучей, и песенки пела нескладно. Во сне она яростно требовать стала, чтоб тёмную магию взялся освоить я под её руководством. От страха и в честь окончания учебного года на лето смотался на дачу, где били капустницы воздух крылами, где вишня уже набухла и старый матрас пах пылью и слизко скрипел при движении. Наташа за мной не ходила.

— Совсем он того, он ку-ку, он ку-ку!

Но стоило мне возвратиться обратно, и первой же ночью опять мне невеста явилась. Её появление я чувствовал по холодку, который волной проходил по пространству. Потом уж не только ночами, но днём начинали мерещиться страшные вещи. Я мог закричать на весь класс на уроке, я вечером прятался в шкафчик с одеждой, а мог замереть на ходу на дороге. Родители даже забили тревогу, но врач нам сказал, дескать, дело в гормонах, подросток, подумаешь, сбой, так бывает. Побольше терпения, спорт и диета.

Тогда-то наметилась трещина, буйный разрыв с другими детьми, они же и раньше меня не любили, я их раздражал тем, что многое знал, к тому же прекрасно учился, они в коридорах кричали мне в спину:

— Ку-ку!

Они на уроке шипели:

— Ку-ку, Зелёнкин рехнулся!

— Эй ты, — хохотала всюю Рыжакова, — бум-бум, Колокольня, Куколья-Куколья, психованный, да и какой-то помятый, я слышала, вши у него.

Так год, презираем, терзаем и мучим Наташей, я бесхозно болтался, как прежде, читал много-много, учился. Один раз возили наш класс на картошку, и там было лучше, поскольку я знал на латыни названия всех травок, растений, и это в восторг приводило ребят. Земля притягательна, мудрость её простиралась тогда на всех нас. Но по возвращении наши дела опять потекли в заведённом порядке.

— Куколья один в туалете!

И всё-таки я постепенно невесту сумел убедить, что уроков магических брать я не стану. И мы сговорились, что надо Наташу к другому объекту тогда привязать, прочтя заклинанье. Пал выбор (да вы угадаете сразу) на девочку с прикусом, вздёрнутым носом — на Рыжакову, раз вся она сгусток противности, пусть до конца своей жизни кукует с Наташей.

Так я распрошлся с заклятой невестой. И долгие годы, бывая на кладбище «Красная Этна», всегда приходил на могилку Наташи, следил за последним приютом магической девы, ведь мама её померла безвозвратно, отца же бог знает какими ветрами по миру носило. Но как-то увидел цветы на могиле (кто был у неё, остаётся загадкой) и понял, что всё-таки мы неразлучны, как пёстрые птицы, как солнце с землёю, что связаны мы не формальным обрядом, а душами связаны мы навсегда.

8. Газета

О'город. № 43 (369)

22.12.2011

В Ленинском суде начались слушания по делу Кукольника.

Город всколыхнула новость о страшном «увлечении» учёного и некрополиста Николая Зелёнкина. О том, почему никто из родных и коллег не заметил отклонений

в его поведении, мы побеседовали с главным редактором газеты «Нижегородский рабочий», с которой сотрудничал задержанный.

Марина Караева:

— Как давно Зелёнкин работал в газете?

— Работал — не совсем верно. Он был внештатником. Но материалы присылал исправно. Мы с удовольствием их публиковали. Это были большие, занимательно изложенные исследования по самым разным вопросам.

— То есть вы редко виделись?

— Раз в месяц. Иногда реже. Он заходил за гонораром или обсудить материалы. Бывало, пропадал, потом появлялся с новой идеей, опять пропадал. И так годами по кругу. Я вначале думал, что он запойный. Непонятно куда исчезает, выглядит неопрятно, даже болезненно. Но со временем выяснилось, что Николай не пил вообще, даже запаха не переносил. Сотрудники несколько раз пытались пригласить его на праздники, но он отказывался. Видимо, когда работал над интересной темой, всё остальное для него переставало существовать.

— Сколько его материалов вы успели опубликовать?

— По два в месяц в течение трёх лет. Считайте сами.

— О чём были его работы?

— Тематический разброс огромен. История разного вида. Гомрода, крамя, целых народов. Самый шумевший цикл — кладбищенский. Очерки по истории городских кладбищ. После его публикации звонили журналисты других изданий, интересовались. Был цикл материалов про эпитафии. Большая статья про символику, в том числе свастику, — он перевёл книгу одного западного учёного и разбирался в этой теме.

— Было ли что-то странное в очерках? Всё-таки необычно, что человек так увлечённо пишет про кладбища.

— Как раз нет. У нас его все считали учёным, скажем, редкой специализации. Кладбища были всего лишь одной веткой его многочисленных интересов. Мало кто занимается некрополистикой. Но знал он, действительно, много. Кое-кто считал его гением. Представьте, он сам выучил двенадцать языков. Сейчас я понимаю, что нормальный человек просто не может столько держать в голове.

— А что за скандал с татарами?

— Зелёнкин подготовил цикл статей о тюркских народах. В одной из них упоминалось, что во время монголо-татарского нашествия татары насильовали русских женщин. Эти статьи посчитало провокационным и областное движение татар «Яраткан жир». Они направили жалобу в редакцию и по инстанциям. Дело показалось нам высосанным из пальца, но публикацию цикла пришлось остановить. Зелёнкин обсуждать случай отказался, это единственный раз, когда он вёл себя не совсем адекватно. Просто хлопнул дверью и несколько месяцев не появлялся в газете. Когда всё затихло, прислал новые работы.

— А каким он был человеком?

— Тихим, интеллигентным. Никто и подумать о нём ничего такого не мог. Да, он был странноватым, замкнутым, как бы в своём мире. Близких друзей у него здесь не было и вряд ли были вообще. Личной жизни, похоже, тоже не было. Хотя упоминал, что хочет детей. Он всё своё время посвящал работе, научным изысканиям.

— То есть он был вменяем?

— Судя по нашему с ним общению, абсолютно вменяемый человек.

Требуются **распространители** газет по почтовым ящикам, проживающие в Нижегородском и Советском районах: Звонить строго по будням с 9:00 до 17:00.
Подработка.

Камнеград

Осенняя распродажа.

Памятник под ключ с доставкой и установкой. 12910 р. Скидка 50%. Успей заказать до 10 января.

9. Урок

Ясно одно: трусить на пустом месте зазорно. Но Зелёнкина, несмотря на крепостную стену из покоцанных книг, которую он за час выстроил на столе и которая теперь загораживала его от людей, потрясывало, как турецкого солдата во время осады Хотина. Возможно иное сравнение — с крупной нелетающей птицей, в переводе с греческого означающей «воробья-верблюда», она бы с удовольствием засунула голову в песок.

Но за отсутствием песков в библиотеке Зелёнкин, почти лёжа на столе, чтобы снизить возможность своего обнаружения, мог только ежеминутно с тревогой поглядывать на входную дверь.

«Улисс выстоял перед троянскими героями, циклопом, лестригонами, Сциллой и Харибдой, а ты трясёшься перед встречей с девицей, расфуфыренной, как новогодняя ёлка! Георгий не смутился перед царевной, облачённой в пурпур и виссон, и победоносно вонзил копьё в змею гортань, а не спрятался, как ты сейчас. А ты боишься двадцатилетки, которая страдательный залог от действительного не отличит? Ты, конечно, сам себе можешь возразить что перечисленное не показатель легко быть бесстрашным когда ты персонаж и существуешь только на отпечатанных или рукописных страницах на экране или вовсе в памяти и какое ещё христианство циклопы сказки сложенные слепцом или вообще фигурой нам неизвестной но были же и живые.

<...>

Капитан Кук не убоился разгорячённой толпы гавайских дикарей, принимавших паруса за огромных скатов, а мачты — за деревья, хоть и поплатился — кости его еле вытребовали у населения, с таким уважением знатные дикари водрузили их в своих домах, а ты трепещешь перед женщиной...»

Как раз в тот момент, когда пламенная его внутренняя речь запнулась о кости капитана Кука, он увидел в дверях Метелькову. Он, пригнувшись, словно под обстрелом, приложил ухо к странице с исследованием древнеегипетских похоронных ритуалов, будто выслушивал у земли, не приближаются ли враги.

— Николай Иванович? — позвала она тихонько, наклонившись и легко дотронувшись до его плеча.

Он избегал смотреть ей в лицо. Взгляд выхватывал участки её образа, как будто фрагменты пейзажного разлива через бинокль: длинные ногти вишневого цвета на узких пальцах, волосы забраны назад и не расходятся в воздухе пьяняще и вызывающе, светлые джинсы, ещё полоска кожи на животе под футболкой, впадинки у ключиц.

— Аааа, — пробурчал он вместо приветствия, — пришла!

Он сразу перешёл на ты, как бы желая её понизить в положении, умалить, чтобы она не вызывала в нём прежний разброд и шатание.

Она с шумом подтащила стул — Зелёнкин и не подумал предложить его сам.

— Вы не сказали, что мне нужно принести. Учебники там... — Она устроилась рядом. — Я взяла только тетрадь.

— Тетрадь пока, — глаголы, прилагательные и прочие части речи улепётывали на ходу, он не успевал набросить на них мысленное лассо и сгруппировать в предложения. — Вот.

Он шлёпнул на стол распечатку.

— The birds, — прочитала заголовок.

— Это понятно?

— Я же не полная идиотка!

Уж птиц-то она могла опознать.

Перья серёжек возле плеч гневно колыхнулись.

— Дальше.

— Читать?

Зелёнкин кивнул.

— On December the third, the wind changed overnight, and it was winter, — прочитала она, спотыкаясь, по слогам, с ошибками, проговаривая г как русскую, с рычанием.

— Переводи.

Она долго сосредоточенно смотрела в текст.

— В декабре зима поменялась. Ну или как-то так.

Зелёнкин поглядел на неё с жалостью. Её кромешное ничегонезнание будто бы давало ему право на более твёрдое существование рядом.

— Это как так получилось?

Юля ткнула пальцем в начало предложения, середину и его конец: «в декабре», «меняться», «зима».

Поняв, что дела обстоят иначе, она вспыхнула:

— Слишком сложно. Можно что-то попроще для начала?

Именно в этот момент в Зелёнкине всплыло воспоминание о другом, чуть повернутом влево лице. Он не сразу сумел нащупать, что это за клочок страницы подбрасывает в голове ветер памяти, его никак было не ухватить. Похожее лицо, только та — маленькая, с кудряшками, и брызги солёные вокруг...

И всё-таки он понял. Это был портрет девочки с Пеньковского кладбища. Почти магическое сходство, будто одна была продолжением другой.

Но не время.

— Это интересный рассказ, — заверил он, пытаясь сосредоточиться на тексте.

— Ага, — буркнула Юля. — Про зиму?

— Про птиц. Это ясно из названия.

— Да ну! — огрызнулась она.

— Там птицы начали нападать на людей. Страшилка! — объяснил Зелёнкин, как будто был вожатым в лагере. — Есть ещё фильм такой.

— И все умерли?

— Вот дочитаем, и узнаешь, — он улыбнулся. — Записывай: «On December the third» — третьего декабря, порядковое числительное.

Юля полезла в сумочку, но почти сразу, как ошпаренная, захлопнула её и повесила обратно на спинку.

— Ручку забыла, — объявила она после паузы.

Николай положил на её сторону стола свою ручку.

Она взяла её, но вдруг вскочила и, не попрощавшись, вылетела из читального зала.

Зелёнкин остался сидеть неподвижно и растерянно, будто его только что смерч проволоком за собой и выплюнул в пустыне.

10. Дела кладбищенские

Ромбов попытался посоветоваться с Зиновьевой, второй соседкой по кабинету, по поводу одинаковых могильных обращений. Но Зиновьева отмахнулась от него, как от навязчивой мухи. К Медведеву сунуться он не решился — тот только и делал, что поднимал Ромбова на смех. Пришлось идти сразу к начальнику, но и здесь его ждала неудача.

— Ещё всяк хочешь?

Ромбов должен был ограничиться отпиской. Ему самому было понятно, что найти «художника» почти невозможно. Но внутри его дело уже возбудилось само собой; прицепилось, как репейник. Его интересовали не закрашенные памятники сами по себе, а то, что он нашёл в них систему, которая могла привести и к религиозному культу, и к секте, и даже к какому-нибудь начинающему маньяку. Он часто представлял, как докапывается до чего-то важного, чего никто другой не заметил, и как все в отделе начинают его уважать.

Вначале он просто искал информацию в интернете о происшествиях на кладбищах, об умерших девочках, о религиозных движениях, которые могли быть связаны... Потом понял, что этого мало, и стал осматривать места преступлений.

Он оставил Бет у въезда на Ново-Сормовское кладбище. Зелёная жестяная банка ехала сбоку на пассажирском сиденье — полноправный участник разведки. Был острый дождливый день. Выходной. В рабочие часы не успевал. Вынужден вести расследование в день дождей и отдыха.

Ромбов свёл в табличку два обращения и трёх измогильных девочек.

В жалобе Гусевой Л.Д. говорилось, что дочери потерпевшей, Софии Гусевой, всего два года назад упрятанной под землю, на портрете чёрной краской замазали глаза. Посчитали за хулиганство, списали на тупых подростков, глумящихся над родительским горем. Памятник восстановили, но вандал опять закрыл дочерние глаза темнотами. Гражданка Гусева поняла: спускать такое не следует, преступник, из каких бы мотивов он ни действовал, должен понести наказание. В обращении Гусева отмечала, что неподалёку случайно обнаружили другую детскую могилу — тоже девочка, правда, прожившая всего пять лет и погребённая раньше, три года назад. С сентиментальным именем Нина Ромашка. Её памятник был изуродован. Видимо, той же рукой.

Второе заявление указывало на преступление на Ново-Федяковском. Могила девочки. Зброшенная. Заявление подали не родители, а равнодушный человек. Его мать была похоронена по соседству. Девочку звали Гришаева Анастасия.

Ромбов направился на поиски сторожа. Нашёл дорогу и сел ждать у сторожки. Наконец, покоцанный, как и постройка, бородатый мужик загремел ключами. Холодные струи кололи шею, лицо, руки.

- Вы сторож?
- Ну... — неопределённо ответил хранитель ключей.
- Можете мне показать две могилы?
- Это зачем?

Дверь поддалась и с хрипом отворилась. Они спрятались внутрь от дождя.

Ромбов хлопнул удостоверением.

— Расследование ведём.

Сторож с сомнением бросил взгляд на улицу, туда, где ливневая машинка, пришивала небо к земле.

- С вами ещё кто-то?
- Ромбову стало неудобно за дурацкий пафос.
- Пока нет.
- Что за могилы?
- Софии Гусевой и Нины Ромашки.
- Это у которых памятники испортили?
- Вы их помните?

— Забудешь тут. Как же. Шуму навели... Пойдём, — сторож закутался плотнее в камуфляжную куртку и повёл гостя за собой. — Какой-то малолетний кретин балуется, а виноват кто? Я им говорю: как мне одному уследить, тут закрасить — минута — разве заметишь? А они орут, плачут. Ну, я могу понять, могилу ребёнка осквернили. Только я-то тут при чём?

Вид у него был, как у недовольного Кентервильского привидения из советского мультфильма.

Земля под ногами за день не успела превратиться в кашу, но местами расползлась под подошвами начищенных ботинок и прилипла по бокам. Ромбов пытался перепрыгивать от островка к островку, семенил по дощечкам. Провожатый уверенно шлёпал сапогами.

Остановились у Гусевой. Действительно, портрет был испорчен. Но не бессмысленной чёрной кляксой, а ровной аккуратной полоской, расплывённой на глаза.

Могилка казалась прибранной, траву недавно скосили. Родственники явно следили за порядком. Свежих отпечатков обуви не было. В углу стояли потерявшие лоск венки. Ромбов с нескольких ракурсов сфотографировал памятник, могилу и портрет с полосой. Сторож тем временем сидел на лавочке, молча поглядывая на процедуру.

— Вторую могилу мать обнаружила? — спросил Ромбов, складывая в рюкзак вещи.

— Да не, чего же она будет тут ходить. Та девочка с другой стороны кладбища. Это я заметил уже после разборок. Привёл их, показал.

Направились к другому захоронению.

У Нины Ромашки были забытая, полностью заросшая могила и скромный портретик на памятнике, поперёк которого чёрной краской — такая же аккуратная черта. Ромбов повторил процедуру.

— Родственники не приходят?

— У нас не отель. Книги посещений не держим, — сторожу до смерти надоело мокнуть под дождём.

Иногда Ромбову казалось, что время замирает. Он зафиксировал момент. Капли висели в воздухе, готовые разбиться. Замер гомон в объёме леса, раздавшегося к лету. Застыли посетители смерти у других захоронений между выпиванием, разговором, спешным напяливанием курток и кофт. Свежесть и зелень торжествовали в воздухе. Кентервиль нервно похлопал сапогами в грязи.

— Если будут новости, звоните, — сказал Ромбов без всякой надежды, надел наушники и почапал к машине.

Включил зажигание. Дворники. Вывел Бет на дорогу.

Несколько раз вильнув по городским улицам, Бет подвезла хозяина к входу на Ново-Федяковское кладбище. Дождь усилился, насупленное небо никаким образом не приветствовало экспедицию и откладывать свои дела не собиралось.

Ромбов подождал два десятка минут внутри машины, бесцельно таращась в окно.

Когда ливень свернул наступление, Ромбов с неохотой вылез наружу и, втянув голову в плечи, совершил перебежку под поредевшим водяным обстрелом. У входа он окликнул молодого охранника, прятавшегося под крышей «ритуальных услуг» и, представившись, изложил суть дела.

— Вам в администрацию. Мне откуда знать, где эта могила, — прогундосил охранник и указал куда-то неопределённо под дождь.

Администрация нашлась в лице полнотелой тётки, принадлежащей к тому типу русских женщин, которым ведомо всё: от лечения рака лягушачьей вытяжкой до расположения конкретного захоронения на конкретном кладбище.

— Знаю, — махнула она рукой, как царевна-лягушка, которая только что набрала полный рукав косточек. — Ту, что Киселёв нашёл? Это он заявление, что ли, на нас написал? Вот неймётся... Как при жизни матери помочь, это нафиг надо, а как после смерти таскаться каждую неделю, это всегда пожалуйста, совесть, небось, заела, — она вытащила карту...

— Просто заявление. Не на вас, — Ромбов нетерпеливо стёр рукавом влагу со лба.

— Заявление не на нас, а нам в итоге разбираться... — заворчала администратор, но тут же спохватилась. — Как звать-то?

— Ромбов. Андрей Романович.

— Девочку как звать?

Андрей смущённо шмыгнул носом.

— Гришаева. Анастасия.

Нашла имя и выдала номер участка.

— Больше покрашенных памятников не фиксировали? — уточнил Ромбов.

— Таких — нет.

— Каких таких?

— Ну, с глазами.

— А что, были другие?

— Были татары. С символами.

— Что ж вы сразу не сказали? — вскипел Ромбов.

— Так это разве связано? В прошлом году целая группа приезжала разбираться. Они тогда тоже заявление писали. Ну написали... и? Сделать-то, что сделаешь? Облаву, что ли, устраивать?

— Отреставрировали?

— Ещё бы. Такой вой подняли! Их приехало двадцать человек и давай на нас орать. Мы в итоге заказали работы по восстановлению.

— Что за символы? Фотографий не осталось?

— Фотографии мы делали на всякий случай, но это надо искать, так сразу не вспомню, где они.

Ромбов подумал, что ему везёт.

— Можете отсканировать? Я оставлю почту и номер телефона.

— Поищу, — весело обещала администратор, будто речь шла об обычных бумагах.

Она ткнула ручкой в примерное место захоронения на карте.

Кладбищенский участок Насти Гришаевой, равно как и соседний, оказался прибранным. Видимо, Киселёв, написавший заявление, хозяйничал тут ответственно. Ромбов успел подумать, не проявляет ли гражданин чрезмерной сознательности: ладно ещё следить за порядком поблизости, но обращаться в органы... Хотя, может быть, испугался, что вандал следом доберётся и до могилы его матери?

И всё же последний приют девочки выдавал одиночество умершей: краска на ограде облупилась, цветов не наблюдалось, могила просела, а глаза на дешёвеньком гранитовом памятнике были замазаны аккуратной чёрной полосой.

Ромбов осмотрел могилу, сфотографировал. Было понятно — почерк один: ровные полоски на глазах маленьких девочек. Очень уж это было похоже на серию, на едва уловимые её обрывки, как будто он подобрался к большому делу с хвоста. И чтобы сдвинуться с места, следовало узнать, отчего умерли девочки и как они были связаны между собой.

Перебираясь по деревянным мосткам, пошёл к следующему участку. Там он бродил около часа длинными рядами, перемазался и промок окончательно, но в конце концов нашёл мусульманский сектор, место, отмеченное на карте. Сфотографировал несколько могил с обновлёнными памятниками — ничего интересного.

11. Гречка и геморрой

Так я не сразу начала с ним общаться.

Сперва вообще не заладилось. Я ещё в универе заметила: он от девушек отскакивал, как от лишайных. Косметика, каблуки, открытая одежда — всё, что заходит нормальным мужикам, — это ему как ведро на башку надеть и кувалдой по нему стукнуть. Поэтому я сразу на встречи с ним стала одеваться попроще. Футболка, кроссы, пучок на затылке. Это я сейчас так хожу, а когда-то без каблуков и косметики даже мусор не выносила.

Домой он не приглашал, я только один раз у него была. В самом конце. Мы встречались всё лето в библиотеке, он там вечно корпел над книжками. Его интересовало всё, я тебе клянусь. Древние цивилизации, обряды, религии, средневековые, нумерология, разные языки, даже магия или музыка, всякая попса... Блин, я такую дрянь не слушаю, а он ходит напевает. Он был просто нашпигован информацией, и, если ему нравилось с человеком разговаривать, не как на лекциях (там он тараторил себе под нос), а с глазу на глаз, душевно чтоб, он мог полдня безостановочно болтать. Египет его особенно интересовал. Он иногда такое рассказывал, что я потом спать не могла.

Ты знаешь, что египтяне из животных мумии делали? Прикинь, десятки катакомб, до потолка забитых кошечками, собачками, крокодилами... У каждого вида своё помещение. Их даже в специальных каменных саркофагах, как людей, хоронили. Если хозяин богатый был. Вот представь, я помру, а добрые люди возьмут моего Лунатика, обработают, в бинтовой кокон засунут и со мной уложат. Чтоб я не скучала в загробной жизни. И это ещё цветочки. Там целое производство было. Мумию животного подарить, особенно священного, — это как установить связь с другим

миром. Всё равно что сейчас свечку поставить, только круче. Животные специально для этого выращивались. Мумифицировали всех: от скарабеев и скорпионов до аписов, быки такие священные. А многие из найденных мумий... они без органов. Вроде подделок. Просто бинты, а внутри грязь всякая, тростник, перья. То есть то ли жрецы народ обманывали, сэкономили на живом материале, то ли это были специальные мумии для бедных. Такой... лайт-вариант подношения богам.

О чём я... А! На первое занятие я к нему шла через не могу. Было чувство, что по позвоночнику пауки ползают. Пробовала сама сесть за английский, но так разве разберёшься? Даже самое простое — артикли или предлоги... Делаешь упражнения, а не понимаешь, правильно или нет.

День ещё тогда был бредовый. Я завалилась домой под утро, днюху отмечали у друга, клёвая туса, ну и мы укурились — целая домашняя плантация была под рукой. Ещё и текила. Последнее, что помню: футболку сняла, до лифчика, ничего такого, и они с меня соль слизывали. Ржака, короче. Бурное прошлое называется.

Лучше бы там и остаться. Но я же не могла, прокуренная, в блёстках и соли, прийти на урок. У Продруида бы глаза на лоб вылезли. В общем, меня на рассвете перегрузили из машины в подъезд, я кое-как добралась до двери, оттуда до дивана и вырубилась сразу. А проснулась оттого, что отчим громыхает на кухне, будто там мировая стройка идёт. Запах подгоревшей каши по всей квартире. Из-под одеяла вылезаю, в платье вчерашнем. И только собираюсь в ванную прокрасться, как с Вовкой, отчимом моим, сталкиваюсь. Смотрю, а он ещё гаже меня — последнее соображение пропил, стоит с кастрюлей дымящейся, шатается и смотрит по-бычьему. Ну, всё, думаю, сейчас прицепится.

И прицепился, конечно. Где таскаешься, шалава, — титьки наружу, посмотри на себя — не стыдно? — и т.д. Глаза фарами, чуть ли не рычит, короче, белочку словил и на меня прёт. Я поняла, что словами тут не обойдётся. Туфлю схватила, в коридоре рядом валялась, и заорала:

— Не подходи!

Так заорала, что он — в ступор.

Я метнулась в ванную и заперлась там. Он побил копытом у двери да и отвалил. Час просидела внутри, зубы почистила, душ приняла. Трясучка улеглась.

Вроде и ужасно. А вроде и привыкаешь за столько лет. Самое страшное — это его непредсказуемость. Иногда нормальный человек, вменяемый, даже заботливый. Всё-таки единственная моя семья. Например, как-то черепаху притащил (её, что ли, бросили на улице), сказал, принимай в дар, будем её одуванчиками кормить. А на дворе зима с метровыми сосульками, какие одуванчики. И так это трогательно было. А через неделю он упал на террариум. Я домой пришла, а он там в крови и осколках валяется. Я тогда всю квартиру обшарила, нашла черепаху и вместо того, чтобы «скорую» вызвать или хоть осмотреть его, пошла курить в подъезд. Думала там на ступеньках и оставлю черепаху, пусть у кого получше живёт.

— Ну, двигай, Лунатик, — говорю, — теперь ты сам по себе.

А Лунатик убогий же. Куда бы он пошёл? Стоял, вытянув шею, на каменном полу, бесхозный, и я его обратно забрала. Пришлось устроиться в салон красоты раздавать флаеры, чтоб новый домик ему купить.

В общем, отсиделась тогда в ванной, а когда Вовка заснул, быстро оделась, не глядя схватила тетрадку, сумку и поскакала на занятие. Телефон, ключи, деньги — это всё в спешке по карманам распихала.

В библиотеке зарегистрировалась. Продруида нашла в читальном зале, он — ноль внимания на меня. Мне даже сесть было некуда. Просто не реагировал... Я ему здрасти-пожалуйста, уважаемый, прямо в ухо. А он мне на отвали распечатку протягивает, вроде как «давай читай». Это было — как будто он меня нарочно унижает, чтоб я к нему больше не ходила и от драгоценных книг не отрывала. Потому что во всём грёбаном тексте я поняла только три слова. Потом в сумку полезла, открываю, а у меня там полная сумка варёной гречки. Прикинь. Это отчима накрыло, пока я в ванной сидела, что-то ему примерещилось, наверно. Меня уже бомбануло, а тут Продруид мне ручку протянул. Белая обычная ручка. А на ней написано: «Жизнь без геморроя». Ну, абзац же, скажи. Мне! И про геморрой. Очень выбесило! И я не сдержалась. У меня и так похмелье, тупняк, нервы, гречка в сумке — в общем, сплошной геморрой и есть... Я психанула и ушла. В парке потом минералкой сумку с косметикой отмывала.

Потом мне даже стыдно стало. Зря я так с ним. Вот зря. Это же не специально. Наверно, ручку прихватил в аптеке какой-нибудь и сам не заметил. Не обращал на такие вещи внимания.

Он со мной заниматься согласился, хотя у него на меня времени не было, а я просто кинула его. Получалось, что это не Продруид с придурью, а я. В общем, через несколько дней, в то же время, пришла извиняться. Нервничала даже.

Захожу в библиотеку, а он сидит, одинокий такой, за столом в углу. Жарко причём, июнь, а он в плотной рубашке с длинными рукавами. Серенький, поникший. И рядом с ним уже второй стул стоит. Свободный.

И я начала вот это всё: простите, не виноватая я. Он отмахнулся:

— Садись.

Никаких вопросов не задавал, никаких объяснений не требовал.

И распечатку подсунул. Начали читать. Текст был опять про птиц, но я заметила, что читать стало проще. Первое предложение: «Декабрь». А я же помню, что там как-то сложнее начиналось.

Я спросила:

— Это тот же текст, что и в прошлый раз?

Он улыбнулся, как большой ребёнок, во все тридцать два:

— Почти. Я сделал для тебя адаптацию.

То есть он весь здоровенный рассказ специально для меня за два дня простыми словами переписал. И даже не знал, вернусь я или нет.

Вот такой он был.

А первую персдачу я, естественно, завалила.

12. Friendship

Так, дребезжа, на солнечном колесе катилось лето. Я продолжала быть паинькой, ходила на занятия. С Продруидом мы подружились. Да-да, смешно тебе. Он был очень странным, но добрым. Неумытый медведь с реверансами. Сутками — в библиотеке за книгами. Всегда в одной и той же вельветовой рубашке с побитыми кромками рукавов и затёршимся воротником, будто его моль погрызла, волосы бобриком. Прямо вымораживало. Вельвет в такую жару!

Вначале я думала, что он совсем того: повёрнутый на исследованиях, и на меня отвлекается с неохотой, ради заработка. А потом он мне стал подарки таскать.

Елена Лапина

МЫ ВСЕ — ЗОЛОТОГО СЕЧЕНЬЯ

* * *

Терпи, моя радость, в каком-то нездешнем краю
мы всё позабудем, нас Родина не потревожит
ни горном побудки, ни зябким молчаньем в строю.
Мы сможем уже без неё, и она без нас — сможет.

Молчи, моя радость, учись уходить налегке.
Уже отдаляется, множа мельканье, мельчанье...
Мы были и будем в великом её языке
не звуком, так отзвуком, переходящим в молчанье.

* * *

В престранной сумятице — по-над страной —
по блюдечку катится глаз наливной:
то горы, то реки да рак под мостом,
песчаные бреги — на этом, на том —
варяги да греки в песке золотом.
То сон имярека, то смуга, то мор,
то заячий посвист да волчий простор...

И сице царевна в распалине дней:
что воля для ней, что неволя для ней, —
лишь голос всё глуше да волос длинней.
И бродит, и бредит — маячит в окне:
не грека ли едет на верном коне?..
В косице проблёскивает волосок,
и кус ей несладок, да терем высок...
И всё ей глядеть да выслушивать весть —
ни сердца, ни ситцу насельнице несть.

Лапина Елена Евгениевна — поэт. Родилась в г. Фрязине Московской области. Окончила экономический факультет Московского лесотехнического института. Публикуется с 2002 года. Автор четырёх книг стихов. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.

* * *

Ivan, Boris et moi...
Marie Laforet

На стареньком снимке, изъятом из небытия,
мы все ещё живы: Василий, Христина и я.
Был год двадцать третий, исполненный
многих утрат.
Мы — взрослые дети. Волошинский.
Калининград.

В отпущенной радости, тем золотым
сентябрём
мы все ещё живы... И мы никогда не умрём.

Два стихотворения

1

День золотой неотвязчивый, словно оса!
Я — твоя старая девочка — соль в волосах.
Мне поглядеть да дотронуться — вздрогнуть в ответ.
Осень, Балтийское море, полуденный свет...
Я против солнца гляжу, слепоту одолев:
радость, бликующий берег, Ликующий Лев —
ветрен и весел, увенчан сиянием дня!..
(Боже, спасибо, когда это всё для меня!)
Воздух поёт: львиный зов-львиный зев-львиный зевс!..
Имя твоё — Василиск-базилик-базилевс!..
Чудится, будто... нет — чайки кричат вразнобой!..
Кажется, всё в этот день любовалось тобой!..
Длилось, и длилось, и длилось, и шло по пятам
из быстротечного «здесь» в бесконечное «там».

...Только и было: ладонь, по-мужски тяжела,
на спину мне, будто львиная лапа, легла.

2

Не стой, защищая неробких,
блюстителем на проходной,
как будто мы в разных коробках.
Но, друже, — пока что в одной.
И днесь, раскрывая объятия
в присутствии жён и мужей,
мы все уже сестры и братья —
мы все отстрелялись уже.

Пиликай, кузнечик, на струнах
в коробочке прожитых лет:
ты любишь красивых и юных
(и я — почему бы и нет),
их, не умиравших ни разу,
не знающих, что впереди
не будет ни неба в алмазах,
ни ровного стука в груди.
Мы все — золотого сеченья,
сокрывшие раны в броню.
Но Бог нам даёт их свеченье,
как прикосновение к огню.
Не презри за грешную малость —
замешкаться на рубеже...

И знаешь, я не целовалась —
меня не целуют уже.

Евгений Эдин

МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ СО ЛЬВАМИ

Повесть

1

Борисевич, мой экс-коллега по радио России — диктор, певец шансона и регент Покровского собора (широкопрофильность объясняется кабальной ипотекой), — позвонил мне и сказал:

— Е.Э., завтра, на Троицу, мы будем петь одну Херувимскую... Приходи послушай.

И вот так случилось, что я впервые за долгое время оказался в храме.

Едва я отвёл тяжёлую дверь Покровского собора, как запах скошенного луга окутал меня. Трава устилала мраморный пол; я вспомнил, что во время Троицкого богослужения встают на колени, — и что же будет с моими белыми пижонскими штанами?

Я постарался изгнать эту мирскую мелочную мысль, но она уже проникла в голову и принялась расшатывать духовный настрой, который я пестовал со вчерашнего дня.

У меня был пакет для рубахи. Я надел её, чтобы не замёрзнуть на утреннем холодке, а теперь снял. Неуместно-гламурный, малинового цвета пакет «Орифлейм». Подстелить его под колени, или это искушение? Я крестился, досадуя на свою непредусмотрительность и мелочность. Кого я намеревался впечатлить белыми штанами? И почему мне под руку угодил «Орифлейм»?

Борисевич находился в огороженном клиросе со своим хором. Цыгански-смуглый, выстроенный длинным фиолетовым одеянием, с трагическими глазами врубелевского Демона. Мы улыбнулись и кивнули друг другу.

Ясное июньское утро влетало в открытые окна и похищало свет паникадила. Храм заполнялся людьми. Невидимая за их спинами женщина читала Псалтырь задавленно-страстным голосом; из алтаря ей отвечали протяжные возгласы священника.

Эдин Евгений Анатольевич родился 1981 году в Ачинске Красноярского края, окончил КГУЦМиЗ. Работал сторожем, актёром, помощником министра, журналистом, диктором, редактором новостей. Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя» и др. Автор книг «Танк из веника» (2014), «Дом, в котором могут жить лошади» (2018), «Нам нравится наша музыка» (2019). Лауреат премий им.В.П.Астафьева и И.А.Гончарова. Живёт в Красноярске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Вдруг зазвонили колокола. Борисевич и певчие встали со своих скамеечек, подступили к пюпитрам и зажгли лампочки. Началась служба.

Множество прихожан заграждали мне, ростом метр семьдесят три, обзор; я только и видел, как сама собой поднимается над головами книга в металлическом окладе и как сами собой выходят из алтаря два подсвечника (выносимые пономарями) и путешествуют вниз. Иногда толпа неуклюже пятилась, и в освободившемся коридоре звякало кадило — мимо пронёсся дьякон в квадратных очках, окуривая голубым дымком.

Нервы мои будоражила смесь запахов: ладана, скошенной травы, пота. Женского пота. Вокруг было много женщин — молодых, интересно одетых. Чтобы не отвлекаться на них, я опускал взгляд под ноги, и тогда видел множество ступней в разной обуви: от кедров до босоножек. Прилипчивые неуместные мысли крутились в голове. Стелить «Орифлейм» или нет? Пожертвовать парадными штанами, которые, скорее всего, не отстираются от травы?

Всё случилось рефлекторно: когда настало время опуститься на колени, я бросил на пол пакет и встал на него.

Склонённые спины и головы очистили гулкое мерцающее пространство. Трепетали листья берёзок, внесённых сюда ради праздника и расставленных по углам. Колыхалось и потрескивало пламя свечей. Вспыхивали и темнели образа. Дьякон читал густым басом Евангелие. Священник с бородой Аль Рашида в митре и горящей золотом епитрахили ходил по храму, кланяясь. Загорелая женщина в сарафане, стоящая на коленях рядом со мной, украдкой разглядывала маникюр. Загорелая, ухоженная, она чем-то напоминала Инну, мою Шахерезаду...

Я изо всех сил старался сосредоточиться, зажмуривался, бормотал «Отче наш», но всё было напрасно. Я ощущал свою чуждость всему этому. Я не разбирал скороговорки старославянского, не понимал службы. Крестился и кланялся, смотря на других, просто как болван — автоматически, с чувством принуждённости. Забрасывал в душу невод с главным вопросом, и он возвращался с травой морскойю. После смерти отца я много лет истово веровал, сейчас же внутри было пусто. Колени белели на коварном малиновом пакете.

Раздосадованный на свою духовную нищету, я подумал, что время религии проходит — религия утратила Огонь и теперь стоит исключительно на силе искусства. Религия есть парча и позолота, эффектно подобранные слова и музыка, определённым образом выстроенные звуки разной высоты, паузы и ритм. Бог — это песня. Такая мысль пришла мне.

Но пели-то, пели действительно великолепно! Борисевич дирижировал обеими руками, приседая от старательности и играл своими демоническими глазами. Иногда он ударял камертон о пюпитр, вызывая высокую ноту, иногда задавал тон фальцетным трезвучием, а иногда сам принимался петь печальным, жалостливым голосом. Я завидовал его увлечённости, умению отдать себя делу без остатка.

Какому делу мне отдать себя? Старый смысл моей жизни иссяк в феврале; нового я не нашёл. Я дезориентирован, не знаю, куда жить, на что опереться. Разводиться ли с женой, что делать с войной, посылать ли деньги или одежду, идти ли в волонтёры, ехать журналистом? Но опыт мой невелик, и тело слишком хрупко, и нервы ни к чёрту, и я боюсь замарать травой штаны. Эти отличные люди поют и счастливы, похоже. Я тоже умею петь. Не стать ли мне певчим?

Лепетала листочками берёза у открытого окна, и я думал об этой смертной зелёной жизни — вообще о жизни земной, не небесной. Об этом они все и поют —

выше, ниже, чистыми безыскусными голосами. И голоса эти стройно, могучим аккордом плывут по храму, заполняют его без остатка. И стоят у входа две сестры милосердия при госпитале, в белых фартуках, с красными крестами на платках. И стоит крутой, эффектный старик в косухе, с собранными в хвост седыми волосами — ладони на металлической трости с ручкой в форме орлиной головы. Закрыв глаза и кивает, страстно, сурово, сжав желваки, и слёзы текут из-под век.

И снова Аль Рашид прошёл, бряцая кадилом, кивая пастве, и ему кивали.

И вот тогда началось самое длинное, кульминационное песнопение. Медленное, с мажорами, переходящими в миноры на концах; и в основном басы, в его русле, изменялось течение других голосов.

Это было словно бы широкая ночная река с лунным светом, и в ней тихо скользят лодки; мерно, приглушённо, как стрелка часов вечности, звякало кадило в глубине храма. Его звук был последним верным штрихом — его мерность, строгость. Это было так тонко и так глубоко пронзало: будто показали тебе, как жизнь идёт и изменяется незаметно; и она прекрасна, и она проходит.

Я замер, весь растворяясь в этой лунной реке. И что-то большое вдруг светлым шаром прошло и озарило меня: я ощутил восторг и жалость ко всему бренному, ощутил какое-то небывалое воодушевление. И подумал, что все женщины — сёстры наши, и вспомнил о моих троюродных сёстрах Инне и Миле, — и вдруг запрыгал мой подбородок, закололо в носу. Я удивился этому и вспоминал наши грибные походы, наше отчинское детство, тёмный шкаф бабы Гели, где я познавал запретное; вспомнил всё хорошее, что было и прошло, и зашептал, кривя губы: «Сестрёнки мои, сестрёнки». Обязательно нужно написать сёстрам, встретиться с сёстрами. Время идёт, кровь зовёт. Глаза мои застлал туман.

— Ну, как тебе Херувимская? — спросил Борисевич с гордостью, встречая меня у входа в храм. Обеденное небо, высокое, ясное, с наплывающей с востока кисеей, песочно мутнело к горизонтам. Мы двинулись на остановку.

— В ней много вечности. Она, наверное, очень старая, — ответил я.

— А вот и нет! — он просверкал улыбкой с цыганского лица (впрочем, у него какие-то казахские корни). — Здесь в позапрошлом веке жил композитор Протопопов. От его музыки осталось полстранички, и в его стилистике эту Херувимскую дописал наш молодой композитор. Он любит диссонансы интересные. Ты заметил? Они современные, но хорошо вписываются. Он регентом в другом храме и играет в инди-группе.

Я был разочарован тем, что потрясая меня композиция — новодел, что автор жив и в жару рассекает по улицам в шортах и сланцах, волосатый модник, татуированный чёрт. Однако вполне возможно, что именно современность музыки и откликнулась мне — эти битловские переливы из мажора в минор.

— Ты плакал, да? — Борисевич нежно, матерински посмотрел на меня. — Это очень хорошо. Некоторые люди специально приходят поплакать к нам. Очистить душу, укрепить веру.

— Да не знаю, от искусства это или от веры, — ответил я. — Мне кажется, вся религия это на самом деле искусство, а не религия. Я как на концерте побывал.

— А нет противоречия между настоящим искусством и религией, — сказал Борисевич твёрдо. — Я вот понял за годы, что они родственницы — искусство и религия. Не парься, всё нормально. Я сам, когда пою, верю в какого-то своего Бога. Это ничего.

Мы дошли до Ленина. Цепко сжав мне руку своими длинными тёмными пальцами и полыхнув глазами и улыбкой, он свернул на остановку, а я пошёл в сторону центра, к серым высоткам краевой администрации, где работал когда-то. Мне хотелось побыть одному.

Я шёл и вспоминал посетившее меня переживание, слёзы, сестёр. Почему мне на ум пришли сёстры? Да, да, женщина в сарафане, похожая на Инну, священник Аль Рашид, а ещё сёстры милосердия. И всё-таки, *что* вызвало мои слёзы? Звуки — материальные, плотские колебания связей, или что-то бесплотное, стоящее за звуками? Мазки на холсте влияют на меня или какая-то картина *внутри меня* откликается на внешнее своё воплощение, как открытие рта вызывает зевок?

2

Мои колени поднывали от стояния на полу храма. Чтобы размять суставы, я завернул на баскетбольную площадку в своём дворе. Двое пацанов лет тринадцати кидали мяч в корзину; я предложил сразиться.

Это были не те десятилетки, целую ораву которых я разгромил в прошлый раз и возгордился — но достойные противники, завсегдатаи площадки, всегда полной матерящегося подросткового племени по вечерам.

Минут двадцать я азартно бегал, прыгал, потел, с наслаждением бил мячом о резиновое покрытие площадки, прислушиваясь к металлическому звону, порождаемому внутри него, и бросал неудобно, но правильно: с одной руки. Мяч, твёрдый, как шкура носорога, тяжело врезался в щит и отскакивал — и щит грохотал с длительными перекатами, словно гром.

Я чувствовал себя скинувшим десяток лет, сильным, как Аякс, полным энергии героем. Настроение моё было превосходно. Я думал о том, что надо найти сестёр, надо поговорить с сёстрами. Время идёт, кровь зовёт. Несколько лет назад они ушли из единственной обжитой мною соцсети ВКонтакте, но их телефоны могут быть у моей родной сестры Лили или у мамы.

Ребята делали меня — два-ноль, три-ноль, четыре-один, — хотя я страшно кричал им под руку. Наконец, заливаясь потом, я признал поражение и ушёл с площадки на слабых ногах, подхватив злосчастный «Орифлейм» с рубахой внутри.

Когда я вошёл на кухню, жена, наблюдавшая игру с шестого этажа, устроила мне сеанс упрёков.

— Ты играешь с посторонними, чужими детьми, — начала она тихо, с разгончиком. — А на своих у тебя никогда нет времени. Ты любишь играть в баскетбол. Но твой сын *прекрасно* играет в баскетбол. Ты, наверное, не заметил, но он уже год ходит на баскетбольную секцию.

— Я знаю, — ответил я, складывая губы в терпеливую улыбку, — что мой сын *прекрасно* играет в баскетбол и ходит на секцию. (С которой я, кстати, забирал его всю зиму.) Мы довольно часто играем, чего ты просто не хочешь видеть и помнить, — я отвернулся к раковине, взял кружку и подставил под кран.

За прожитые совместно годы я пробовал разные способы управлять этой непредсказуемой стихией — женой. Но потерпел неудачу, не нашёл ключа. Несколько раз в месяц она, продавец секс-шопа (день, ночь, отсыпной, выходной), мастерица различных рукодельных чудес, требуемых от сына в школе, проверятельница его домашних работ, варительница щей и борщей, устаёт от всей этой горькой полынной жизни и моей недостаточной в неё вовлечённости. Тогда она устраивает мне гитлеркапут

Елена Колесниченко

Что можно слышать, не разумея

* * *

Мир пуст — лишь ветер несёт позёмку,
И дня седьмого бедна картина.
А я несу на помойку ёлку
С забытой ленточкой серпантина.

И проступает смола на ветках —
И липнут пальцы, и пахнет хвоя.
И память катится из-под века,
Опять задетая за живое.

Как будто помнит о чём-то дивном.
Где я увидеть его сумею?
О том навек непереводимом,
Что можно слышать, не разумея.

Мороз сжимает кулак до хруста —
Господь лютует. Белы и прямы,
На облаках в облаченье грузном
Живые сосны стоят, как храмы.

Безмолвный снег заполняет Китеж
Вслепую — помня, что он вода лишь.
Как будто ты мне о счастье пишешь,
Хотя по буквам не попадаешь.

Колесниченко Елена Александровна родилась в 1993 году в пос. Полтавка Омской обл. Окончила в 2018 году Литературный институт имени А.М.Горького. Работает в МБУК «Библиотеки Тольятти». Автор сборника стихов «Тёплые сны зимы» (2010). Участница международного Форума молодых писателей «Липки» (2023). Живёт в г. Тольятти.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Адресат моих откровений ночных и слёз!
Я писала тебе на всех языках любви,
А каких не знала — выдумала сама
(И так долго эти буквы в себе носила!)

Иногда меня нельзя принимать всерьёз:
Лес, как Лазарь, встал, трёхдневной листвою обвит —
Жить, дышать, соловьиной песней сходить с ума.
И не спросит, что его воскресило.

Ты искал словарь, как молящийся ищет знак,
И на всех языках тоски мне ответил «нет».
«Я останусь всего лишь поводом для стихов» —
Так натуралист не видит себя в пестроте полотен.

Так — живая скрипка! — вчера ещё мёртв и наг,
Лес не помнит, кто облачил его в гром и свет,
Кто вино сомненья пил из его мехов —
Ибо тот недвижим. Безгласен. Незряч. Бесплотен.

* * *

Руки деревьев по капле стяжают свой страх.
Камни со мной говорят на слепых языках.
Память как наледь над раной разверстого сна:
Лимфа истекшего снега — твой выдох, весна —
Жёлтый фонарь, лейкоциты свернувшихся льдин.
В мокрых ботинках гребёт по задворкам один,
Прячет лицо в капюшон городской темноты.
С кем говорит он, когда междометья пусты, —
Эта чужая, гортанная, трубная речь,
Разоблаченье надежды, рассеянье встреч,
Хрип горловых откровений, рывок палаша.
О, Самуилово племя, запнувшись, душа
Слушает, слушает, слушает. Ибо в уста
Вечности вложена будет её немота.

* * *

Мой взыскательный друг! Не сердись, я учу опять
Иероглифы немоты — не хватает фраз.
Это морзе гаишника: вспять — взмах равно — распять.
Но где точка, а где тире — не понять на глаз.

На скрижалях молчания мёртвые письма —
Не дошедшие письма (замшелой тоски валун).
Я с тобой говорю, и всецело моя вина,
Если ты меня слышишь: просто смени волну.

Ибо я есть источник слёз (если речь — река),
Но ты жаждешь пламени, листья твои — как ртуть.
Ибо я есть край Моисеева языка —
Избегая, ищу тебя, словно ожог во рту.

Ибо я есть ты — да пребудет твоё во мне,
Как в очах Синая память ночной сурьмы.
Ты теряешь речь, я дрожу в ледяном огне.
Кто-то третий зовёт по имени нас из тьмы.

* * *

О, транслятор бездны (цезура в пустой строке) —
Я хочу стихи на своём читать языке.
Как согласные жгут глаголы (а петь — вотще).
Как от «и» до «ы» горловая раскрылась шель.

Недоступен сайт. Неподсуден её мотив:
У поэзии нет отчизны, и, запретив
На земле дышать ей, — небо ли дашь взамен?
Господи! Так яви мне свой VPN.

Кто он? Где? Чиркни спичкой — пусть дальше тьма.
Только первую букву — слово найду сама.
Не Харон, не Гермес, не Танатос, — он наугад
Поведёт меня в самый дальний и дольний ад,

Наречёт меня именем странным, таящим страх,
И пропишет душу мою в таких городах,
Что забытые буквы встанут вокруг стеной —
Долгожданным выдохом — горлом — иной страной.

Николай Лугинов

Дела семейные

Рассказы. С якутского. Перевод Владимира Крупина

Классику современной якутской литературы Николаю Лугинову 14 августа этого года исполнилось 75 лет. Он один из самых известных якутских писателей. Первые публикации прошли в журнале «Хотугу сулус» в 1974 году. Уже через два года вышла книга рассказов. Ныне он автор более тридцати книг прозы, наиболее известное его произведение — роман «По велению Чингис Хана», над которым прозаик работал в 1997—2005 годы. На сегодняшний день Н.А.Лугинов — писатель-новатор с ярко выраженным национальным колоритом и самобытностью. Книги его переведены и изданы на многих языках мира, в том числе на китайском, французском, польском, сербском, немецком, татарском, башкирском, казахском, киргизском, тувинском.

В 2009 году по книге «По велению Чингисхана» был снят фильм «Тайна Чингис Хаана» — первый широкомасштабный проект якутского кино, объединивший якутов, тувинцев, бурятов, калмыков, башкир, монголов и другие азиатские народы. Фильм «Надо мною солнце не садится» (2019), снятый по мотивам повести «Таас Тумус», был отмечен премиями на Московском международном, Шанхайском и многих других кинофестивалях.

В последние десятилетия творческие интересы Николая Лугинова относятся к древнему Китаю, писатель работает над серией произведений о хуннских военных деятелях, в том числе о великом мыслителе Лао-Цзы. Он продолжает тему сложных взаимоотношений китайской и хуннской империй в V—III вв. до н.э., поднимает проблемы вечного противостояния добра и зла, духовного и материального, долга и выгоды, мужества и трусости.

Сегодня представляем читателям фрагмент романа в повестях «Время перемен».

Живёт и работает Николай Лугинов в Якутске.

Крупин Владимир Николаевич, известный русский прозаик, публицист, педагог. Родился в 1941 году в селе Кильмезь Кировской области. Один из представителей «деревенской прозы». Главный редактор журнала «Москва» (1990—1992). Главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь» (1998—2003). Лауреат Патриаршей литературной премии (2011). Почётный гражданин Кировской области (2016). Мировую известность получила повесть Владимира Крупина «Живая вода» (1980). Живёт в Москве.

Дед и его внуки

Когда жизнь твоя давно перевалила за середину, то волей-неволей приучаешься прислушиваться к своему телу. Особенно по весне наваливается, бывает, какая-то слабость, в прежние годы тебе неведомая. И отдыхай не отдыхай, а тело всё как не твоё, словно после некоей трудной дороги. Хотя в прошедшем году и не было изнурительных дальних походов, но почему-то у всех, даже у самых рьяных старых служаек, этой весной проявилась не то что усталость, но некая истомлённость, которая совсем никого не побуждает к особому служебному рвению.

По давно заведённой традиции войска хуннской армии собираются в полном составе два раза в год. Месяца на два в сентябре — для осенних походов, после чего с ноября распускаются по своим домам на зимние стоянки, до марта. А там вновь собираются — уже для весенних ратных трудов.

Как всякое многоягодное и продолжительное предприятие, военные сборы — дело сложное, требует строжайшей организованности во всём, налаженности на каждом своём этапе. Всякий задействованный в этом должен чётко знать своё место и обязанности. Одни занимаются боевой выучкой, слаживаемостью в действиях, разведкой маршрутов. Другие остаются при обозе, охраняя и ремонтируя общее войсковое снаряжение, следя за сохранностью и распределением запасов продовольствия и фуража. Кстати, мало среди хуннов охотников заниматься этим скучным делом по собственной воле, если не сказать, что их совсем не найти. Даже уговаривать приходится, с хитрецей подходить, с обещаниями каких-нибудь поблажек или чего-то дельного взамен. Но что хунну пообещаешь? Ему, по большому-то счёту, ничего и не надо, всё у него есть, что ему по-настоящему необходимо. Разве что хорошего коня или редкое оружие. Но этого-то, к сожалению, никогда и ни у кого, даже у главнокомандующего, много не бывает.

А тут весенняя хандра неожиданно-негаданно накатила и на сёгуна Турара.

С самого утра, как только проснулся, он почувствовал в себе непонятное раздражение... Потому, возможно, что плохо спал? Да, тяжело ему пришлось в эту ночь, и он обрадовался наступлению утра. С рассветом мучившие его ночные кошмары мало-помалу прекратились, но раздражение осталось. За долгую ратную службу много накопилось у него малоприятных воспоминаний, время от времени перетекающих в тяжёлые сновидения. Но до поры прошлое так навязчиво не маяло его. Тягостные сны начались совсем недавно.

Проснувшись, но ещё не вставая по заведённой стариковской привычке с ложа, он разминал затёкшие, будто заочневшие за ночь суставы. И хотел уж было подняться, как подошли внуки, Бабыр с Аколлом, и стали заботливо массировать его тело. Они, уже миновавшие отроческий возраст, с измальства знали дедовы привычки и потребности, их гибкие сильные руки привычно сновали по дедовой спине и плечам.

Турар для порядку по-стариковски поворчал, что зря они в такую рань поднялись, могли бы ещё поспать, ибо утренний сон в юности как никогда сладок, наверняка же вчера вечером допоздна шептались. Но радовало, что внуки ещё с вечера договорились встать пораньше, чтобы прийти размять деду спину.

Пока они без особого успеха старались передать свою юношескую бодрость дедову телу, тот размышлял. Понятно, что Бабыр долго у него не задержится, умчится к своим нукерам. И хотя по званию он сюней, но по должности — заместитель командира мегеня-тысячника, так что забот у него, как говорится, полон рот.

Нынче он только по случаю приезда брата ещё раз переночует в ставке деда, а там — по всем правилам — должен будет находиться со своими подчинёнными.

Непривычно молчалив что-то сегодня Акол, и это беспокоило старика. Обычно он всё время толкует о чём-то, его заинтересовавшем, порой как бы думает вслух, не упуская возможности расспросить, послушать рассказы деда о давно минувшем. И не раз он своими странными, но и глубокими вопросами заставлял деда врасплох, ставил в затруднение. Понимал он столь многое и в таких деталях, что далеко не всякому зрелому человеку доступно. Турар не знал, как тот — слепой от рождения, лишённый потому столь многого в самой возможности познания мира — сумел постичь смысл не только сложных жизненных обстоятельств, но и неожиданно мудро проникнуть в самую их суть. Откуда в нём это, где источник его удивительных знаний? Те, с кем он общается, никак не могли дать их ему, даже китаец, его воспитатель У Хуан... И сколько ни думал об этом, всё равно оставалось для него тайной. Спросить же самого Акола он не решался, да и что тот ответить может? Слушал всех, дескать, и запоминал, сам размышлял...

А вот теперь он — молчал. Его незрячие глаза смотрели куда-то вдаль, сквозь стены сурта, словно он что-то сосредоточенно высматривал там. Временами казалось, будто ему удаётся разглядеть нечто новое в этих непостижимых зрячим далях, потому что он то и дело удовлетворённо кивал себе...

Турар, озаботившись этим, попытался разговорить его. Но Акол отвечал на вопросы коротко, односложно и вновь умолкал, погружаясь в себя. Нет, дед не впервой удивлялся этим разительным переменам во внуке, да и с самого начала было видно, что растёт-подрастает явно незаурядный, наделённый необычными способностями человек. Прежде юноша при первой же возможности не отходил от него или У Хуана ни на шаг, всё о чём-то выспрашивал, любил во всём разобраться до подробностей, высказывая и свои всегда интересные суждения. Но вот уже дней десять как он притих, словно разом потерял интерес ко всему, то ли о чём-то сосредоточенно думая, готовясь ли к чему. Но о чём, в самом деле, можно столько дней и так напряжённо думать?..

Желая отвлечь его, Турар даже вызвал У Хуана и Батамая, чтобы те прогулялись с ним по окрестным местам, дали продышаться, поразвлекли охотой и рыбалкой. И не забыл строго предупредить их об осторожности: места-то горные, тут много спусков и крутых подъёмов, мало ли что может случиться. На предостережения эти Батамай со свойственной ему манерой верхогляда лишь отмахнулся:

— Да какие тут горы! Так себе холмы, а не горы, сёгун...

— Не перебивай старшего, невежа... И когда ты остепенишься, наконец?! Наверное, никогда, — поздно тебе уже взрослеть, хотя опыт свой пора бы научиться использовать. Люди мы степные, а значит, и сами мы, и кони наши, непривычны к таким подъёмам и спускам. Я-то настоящие горы имел в виду, а ты — «холмы»...

Турар заметил, что при словах о настоящих горах Акол поднял голову и как бы внутренне встрепенулся. До этого безучастный ко всему, он стал внимательно слушать разговор, и когда все собрались уже выходить, тихо спросил у Батамая:

— Уважаемый, а где, в каких местах вы бывали в горах?

— Да я в молодости ещё охотился в долинах и на склонах Куньлуня, — соврал не моргнув глазом Батамай, так и не изживший с годами желания прихвастнуть, упустить возможность лишний раз выставить себя героем, всезнающим бывалым путешественником. Все знали об этой его привычке, не раз ловили на вранье

и смеялись над ним, но это не помогало избавиться ему от хвастовства. Такого порой нагородит, что просто диву даёшься. — Без добычи спать не ложился...

— Да? Какой вы счастливый!

— Конечно! Да там такая красота, что словами не описать!

— Говорят, что там есть и святые места...

— О-о, да там вообще этих всяких мест полно!..

— Нет, я говорю об особых святых местах, куда ходят паломники, чтобы помолиться Всевышнему Тэнгри...

— Да я этих богомольцев перевидал — без числа... и в местах этих многих бывал, да!..

Батамай сейчас явно привирал, и сёгун это сразу понял. Он-то за долгую свою жизнь сумел так его изучить, что точно знал, где Батамай говорит правду и что действительно знает, а где врёт напрапую.

— Не-ет, святых мест много не бывает...

Акол сказал это тихо, как-то печально, и тут же потерял интерес к Батамаю, поняв, что верить ему нельзя. Да и что мог рассказать ему этот простодушный малообразованный человек, которому нет никакого дела до всяких там святынь?..

Нет, не первый раз удивляется Турар возникшему ни с того ни с сего странному интересу внука к Кунылуню, к тайным знаниям святых старцев, к паломникам, неизвестно что ищущим там. Огромные горные хребты протяжённостью в несколько тысяч ли имеют среди жителей равнин недобрую славу, и особо впечатлительные выдумщики вроде Батамая рассказывают про них всякие небылицы. Поэтому люди опасаются тех, и вправду зловещих, мест и по возможности обходят их стороной. Но вот почему-то облюбовали их некоторые странники, ходят туда поклониться якобы святым этим местам... а что в них, этих скалах и пещерах, такого святого? Что, нельзя молиться Всевышнему у себя дома? Как и большинство хуннов, Турар был уверен: странники эти — отбившиеся от семьи и не иначе как «больные» люди, которые и становятся, в конце концов, отшельниками и поселяются там в пещерах.

Но с какой стати, задавался в который раз он вопросом, это так интересует, так волнует и даже, по всему видно, тревожит Акола? И ответно не может не тревожить и его, деда, который и всегда-то терпеть не мог малейшей неопределённости в душе: не по нему было это подвешенное состояние, когда не можешь себе ответить, кажется ли тебе это или в действительности происходит.

А тут ещё и Бабыра вдруг вызвали к самому саархаану — и к добру ли? Неужто саархаан хочет отправить его с каким-то особым поручением, и почему именно его? Опыта мало у юноши, ведь ему только семнадцать лет. Хотя и хвалят его за боевые успехи, но ведь это одно из, пожалуй, врождённых умений хунна, а вот жизненного опыта ему пока недостаёт, потому как познать хитросплетения жизни намного сложнее, чем саблей махать. И для особых поручений обычно выбирают опытных воинов, да и в званиях повыше. Скорей бы вернулся, что ли, и помоги Тэнгри, чтобы всё было хорошо...

К тому же, если бы в адрес Бабыра появились какие-то нарекания по службе, то ему, сёгуну, обязательно бы доложили, а этого не было. Значит, что-то другое... Вообще-то саархаан не любит заниматься мелкими делами, в том числе и штатными армейскими, кроме разве что торжественного присвоения званий да вручения наград. А награждать внука пока не за что, да и для повышения тоже вроде не созрел, рановато; совсем недавно ещё, только в прошлом году, ему присвоили звание сюнея-сотника. И семья отпраздновала это с размахом.

Поводырь Хойгур

Нет, что-то всё-таки не давало покоя Турару, и он велел денщику вызвать к себе поводыря Акола. Его когда-то выбрал себе из всех кандидатов сам внук, и это вызвало в семье бурные споры и несогласия, большинству домашних он не нравился.

Поводыря быстро разыскали и привели к шатру Турара.

— Кто ты? — спросил его охранник железным голосом. Видимо, мальчишка-поводырь был одет неважно и его вид показался стражу сомнительным. Здесь привыкли к посетителям высокопоставленным, с серебряными генеральскими ярлыками, а не к оборвышам.

— Я?.. да никто... — явно растерялся, запнулся поводырь.

— Дурак ты! Скажи толком, кто ты и куда идёшь?

— Я... меня вызвали сюда, а кто — не сказали. А я... я сирджит, то есть вождь. Сопровождаю слепого внука сёгуна.

— А-а... Понятно. Поводырь, значит, а не вождь. Надо же, и где только нашли дурака такого — и для кого! Ну проходи, раз вождь... Здесь чаще всего как раз они и собираются.

Слушая этот разговор через полотно тонкого шёлкового шатра, Турар от души посмеялся. А когда перед ним предстал сам «вождь», довольно напуганный стражником, то внимательно рассмотрел его. Перед испытующим взглядом командующего мальчик, казалось, сжался, втянул голову в плечи, стараясь казаться меньше и покорней.

Был он безотцовщиной, выросшим с матерью из свободных рабов, каких много прислуживало при орде. И кто угодно мог быть его отцом, хотя поговаривали, что им стал один лихой проходимец по имени Окун, одно время служивший у хуннов при обозе.

Исчезнув однажды, этот Окун появился в злосчастном царстве-государстве Саратае. Разбогатеv там каким-то образом и быстро завоевав уважение и доверие влиятельных людей, стал правителем Саратая в результате очередного переворота, которые случались там чуть ли не ежегодно. И надо сказать, что не без помощи хуннов, которые имели в этом краю свои интересы. Он даже сумел продержаться у власти года два, а это довольно долго по их меркам. Но после очередного переворота был свергнут, изгнан и пропал.

По слухам выходило, что это не простой мальчик, а сын хотя и бывшего, но правителя Саратая. Пусть это и разбойничье государство, но там тоже люди — божьи создания — живут, и с ними ничего без воли Тэнгри случиться не может. Вот и рождение этого поводыря было, следовательно, далеко не случайным.

— Ну, что расскажешь о деле своём? — обратился не без иронии Турар к отроку.

— Ничего... Мне сказали, что поедем на прогулку по окрестным местам — любоваться подснежниками, бутончиками, листиками там и травами всякими.

— Не забывай, ты всё время должен держаться рядом с конём Акола, чтобы в подробностях рассказывать про окружающие вас места. Ему важно передать в подробностях всё: что впереди, что справа и что слева. Какие где деревья растут, как они выглядят, рассказать и о том, что в них поменялось за последние недели. И то, что сейчас начали пробиваться подснежники... он же их любит, ты помнишь?

— Помню всё, конечно... Постараюсь, господин, — излишне угодливо покивал тот, поклонился. — Хотя порой бывает трудно успеть за всеми переменами вокруг...

Эгвина Фет

Когда б не истечение дней

* * *

когда б не истечение дней,
то время было бы длинней,
и сквозь него
среди растений
лучи роились бы цветений,
как бабочки под потолком,
сбиваясь бестолково в ком,
в ком
полотно дрожит событий
без всякой связи с этим всем.

вчера мы видели,
скажи-ведь,
как кто-то вышел нао всем.

и время (с)делалось тем уже,
чем туже (с)делалось оно, —
чтобы потрогать жизнь снаружи,
почти не нужно ничего.

* * *

пока не все уложены слова,
по крайней мере речь способна множить,
и мысль ещё не то, чтобы мертва,
но обойти её теперь несложно.
ты говоришь, что есть какой-то слом,
за чем-то, типа
квантовым числом,
которое дрожит чернильной колбой,

Эгвина Фет — поэт. Родилась в 1984 году. По образованию учитель истории, кандидат политических наук. Редактор научного журнала «КАНТ». Автор книги стихов «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2018). Финалист литературной премии имени А.Пушкина «Лицей» (2019), литературного конкурса имени Корнея Чуковского (2022), Национальной премии в области детской и подростковой литературы (2023). Живёт на Северном Кавказе.

когда в неё от звёзд летят осколки
на 153-й день в году.
ещё про то, как бесконечно гамлет
придумывал вопросы на лету,
отказываясь смерть принять на веру.
и дождь идёт, и стыннут облака
от молнии, заряженной ампером.
сиреневела вывеска, пока
пространство вне
перетекало в бар,
как будто бы внутри там было что-то.
вид лошади бледнел на тротуар,
растерянно взирая на прохожих.
ты говоришь про то, что телеграм
гораздо проще прежних телеграмм,
когда их отправляли, если только
на них внезапно кто-то умирал.
ты говоришь,
в глухом пространстве, стены
в объятия нас сдавливают с теми,
не с теми теми, с кем они нужны.
зачем мы здесь,
где промежуток есть
ни что иное,
как в его пределах.
и ты печальная сидела.
и ты.

* * *

звёзд электрических печенье,
фольга луны,
её каченье,
и близорукие цветы
стоят глазами по колено —
блаженны
в обмороке сны.
ромашка скажет — я его жила,
орфея тело,
разверзая раны,
линяя в них, униженно ютясь,
чтоб не попасть в сердечные капканы.
утопленница — мошка на росе,
застывшая
в одной его слезе, —
он соль лакал,
влюблённый в эвридику,
взрастив отчасти зрение
не вне,
а внутрь себя,
как в поминальный зал, —
разложены гвоздики,

но никто
их зрением никак не осязал.
когда уже
глазами по колено
цветы стоят
и ты у них в плену,
он просиял и выбрался из тлена,
в кромешных звёзд
уоставившись блесну.

* * *

никто не скажет, в вечной мерзлоте
движение воздуха проходит по длине,
дыханием ленивым разрезая,
что, как в музее вещь,
хранится, зная,
как трескается воздух изнутри.
но выстоят нетронутыми кости,
нагие мёртвые,
чтобы явиться в гости,
как Лазарь, отряхнувшись ото сна.
и если кто умалит их надежду
на пробуждение,
архангел Гавриил
не скажет больше никому ни слова,
никто не скажет,
и слова без сил
останутся лежать,
когда бы кто-то
в начале было Слово возвестил.

Сати Овакимян

Мой дом переехал

Рассказ

Утро началось необычно: то ли от чувства стыда, то ли от ликования, две полоски на узкой картонке покраснели и заулыбались цветом спелой клубники. Жизнь. Начало... Пустота. Пустота, наполненная чем-то совсем крошечным и неосознанно важным. Я вышла из ванной, посмотрела на него, подошла поближе, открыла рот, вдохнула побольше воздуха и выдохнула его в поцелуй. Не решилась — посмотрела ему в глаза и увидела в них свои же страхи. Вышла из дому.

Одна из праздничных улиц Москвы днём и ночью утопает в зорких взглядах неисчислимых ярко-жёлтых глазниц-гирлянд. Чуть поднимешь голову, а там единорог тянется ко льву, прямо выскакивает из голубого фасада здания, будто радостно играет с этими гирляндами. Ну и пусть. Я глубже прячусь в свою вязаную белую шапку, только губы чуть выставляю вперёд, двигаю ими и как будто помогаю буквам выпрыгнуть, вылететь наверх. Понимаю ведь: в такой мороз мои прозрачные от холода молитвы чуть-чуть приподнимутся вверх, к облакам, но дальше не пройдут. Обмороженные посиневшие буквы упадут на носки моих лакированных ботинок маленькими бездомными снежными трупиками и исчезнут навсегда. Бездомье. Я стараюсь никогда не произносить этого слова, но от него не убежать, как и от моей раскладушки, которая везде и всюду со мной, и кулона — обломка туфа, который ношу на шею не снимая.

Мы с мамой жили в крохотном армянском городке, спрятанном от мира в тени больших лохматых елей. Жили в подвале бабушкиного дома. Она была художницей суровой старухой, которая после смерти деда отказалась продавать улыбки с пчёлами, а решила сама заняться пчеловодством, тем самым отгородив себя от семейных дел и домашнего шума. А шума здесь было немало. Второй этаж она сдавала каким-то студенткам из медучилища, которые разъезжались летом после сдачи экзаменов.

Сати Овакимян родилась в 1988 году в Ереване. Окончила факультет театроведения Ереванского государственного института театра и кино (2010). Работала журналистом и сценаристом в телекомпаниях. Автор сборников рассказов «Полу-Остров» (2017), «Созвездие эмигранта» (2020). Печаталась в журналах «Дружба народов», «День и Ночь» и многих армянских СМИ. Дипломант XI Международного Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь» (2020). Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 9.

На первом этаже жила сама бабушка вместе с моей тётёй — старой девой, двинутой на магии, эзотерике, шаманских обрядах и мечтавшей выйти замуж за красивого, богатого и щедрого мужчину. Вот только подходящих мужиков в нашем маленьком городишке не было. Однако, согласно её убеждению, всемогущая магия могла хоть из Франции доставить ей самого лучшего на свете жениха. Вообще-то она была пианисткой, с выдающимся горбатым носом, заплетённой из редких прядей косой и ровным пробором — чтобы жизнь шла чётким прямым путём. Она не любила разговаривать, ненавидела детей и хотела когда-нибудь открыть собственный магазинчик пюпитров. Раньше ей нравилась её работа учителя музыки, но затем её уволили из школы. Поколебавшись, тётушка пошла к священнику и попросила принять её в хор. Пела она куда лучше, чем занималась своими ритуалами, а священник, знавший моего покойного дедушку, сжалился над беспросветной жизнью старой девы тридцати шести лет и решил, что осознанный приход к Богу поможет усмирить её невыносимый характер. Соседям и знакомым она то и дело повторяла, что служит в Божьем храме. На самом деле никакого храма и в помине не было — все это отлично знали.

В своё время один из старожилов подарил ставший ненужным гараж приехавшему из столицы священнику, который из-за своего хронического бронхита решил на время переселиться в наш городок да и остался жить здесь. Он подружился с местными, начал учить всех уму-разуму, принялся писать статьи на религиозные темы в местную газету и был сильно удивлён, что у нас всего-то одна, и та полуразрушенная, часовня на самой окраине. Но ведь истинным христианам необходимо молиться не абы где, а именно — в церкви. Его приятель, журналист этой газеты, посоветовал поехать в столицу и попросить денег на ремонт «храма» для наших жителей. Так и превратился гараж в «Дом Божий». Калеки, пенсионеры и постаревшие и уже ненужные в своём древнейшем ремесле, но умевшие громкими голосами попадать в ноты женщины, а с ними и моя тётя, составили церковный хор. Руководил им низкорослый, тонкоголосый, с вечным прищуром и с бородкой, похожей на козлиную, отец Нвер.

С детства я очень боялась и одновременно ненавидела бородатых мужчин. Раньше, когда после гибели отца дед решил приютить нас с мамой у себя в доме, мы жили на первом этаже как нормальные люди. Все вместе: дедушка и бабушка, тётя, я и мама. Второй этаж дед сдавал какому-то попу и его жене. Этот бородатый плотный мужчина с сильным голосом, едва завидев меня, подходил, бормотал под нос что-то непонятное, вырывал из моих рук яблоко или игрушку, а чтобы я не скандалила и не жаловалась взрослым, говорил: «Это я не себе. Я отнесу бездомным и нуждающимся детям. Расскажешь деду — Боженька узнает и тебе такую же судьбу устроит». Угроз я, конечно, боялась: сначала говорила маме, что потеряла свои игрушки, а потом и вовсе старалась ничего не брать с собой во двор.

Я спрашивала у деда, как же держится наша люстра на потолке, не падая на нас. Он смеялся. Смеялся, а потом отвечал, мол, люстру держит поп, который живёт у нас на втором этаже, а если он уходит по делам, на пост держателя люстры заступает его жена Люсине. «Вот так им и надо!» — думала я, поднимая глаза к потолку и не в силах постичь, как же они успевают удерживать и не уронить сразу несколько люстр. Мне представлялось, как длинная чёрная поповская борода, подобно осьминожьим щупальцам, расплзается по комнатам и помогает своему хозяину в этом сложном деле.

В начале ноября у деда прихватило сердце, и он умер. Длиннобородый поп с женой вскоре съехали. Ну а нас с мамой бабушка решила лишить домашнего уюта

и переселила в сырой и тревожный мрак подвала. И только люстры продолжали всеми силами держаться за потолок.

Бабушка ненавидела осень и зиму, она жила летом, ощущением тепла. Носила платья и жакеты изумрудных и оранжевых оттенков. Я же, боясь и ненавидя её за жестокую несправедливость, чувствовала какое-то необъяснимое притяжение, вглядывалась в её матовые светло-зелёные глаза и старалась ощутить запах её лета. Она неизменно усаживалась на стул из грушевого дерева — изготовленный и некогда подаренный ей дедом — таким образом, чтобы видеть летки ульев, и делала записи в своём блокноте пчеловода.

Август — долгожданный и вместе с тем тяжёлый месяц для пасечников, особенно в наших краях, где погода могла подвести. Зато это месяц медосбора. Медосбор — сложная кропотливая работа. Медосбор — подведение итогов летних дней, каждой солнечной секунды. Это жизнь, вращающаяся в центрифуге, долгожданная встреча янтарного счастья с крыжовенным взглядом бабушки. Она всегда получала неизъяснимое удовольствие и от самого процесса откачки, и от жужжания пчёл, и не боялась их укусов. «Пчеловод всегда должен быть готов к ужалениям. Должен уважать образ жизни пчёл», — повторяла она. И наплевать, что пчёлы не признают своих хозяев, главное — чтобы хозяйка отлично знала своих подопечных, знала, на какой дистанции находится и вовремя оказываться возле ульев.

И вот сейчас я шагаю сквозь ноябрь. Ноябрь — мрак, чёрная дыра, месяц-испытание, и я стараюсь добраться до декабря, до праздника Рождества Христова. Иду с тяжёлым рюкзаком и мегафоном на поясе, таскаю с собой пачку старых фотографий города, иду, замедляя шаг и каждую секунду задыхаясь от счастья. Листья опали, деревья без них торчат чёрные, злые, как угрюмые памятники, напоминающие о своей былой славе. Скрюченные тонкие пальцы веток застыли в серости неба. Та же серость отражается серебряным отблеском на спецовках рабочих, суетливо запикивающих никому уже не нужные тела листьев в плотные чёрные пакеты. Не хочется заходить в офис на планёрку. Мне не стыдно опаздывать, не стыдно не оправдывать возложенных на меня надежд. Не буду придумывать себе никаких извинений. Моё единственное оправдание — вынашивание новой жизни, продление своего лета. И потому я предпочитаю неспешно пройти вдоль Китайгородской стены, на время отгородив себя от обид, от упреков и неприятных разговоров. Ещё год назад работа гида казалась самой лёгкой и желанной, но стоило только устроиться на неё и начать ходить по городу по пятнадцать километров в день, как всё переменялось кардинальным образом.

Однажды я пришла на экскурсию к своему коллеге, смахивавшему на пирата из мультиков моего детства, — такому шустрому рыжеватому парню с серебряным кольцом в левом ухе. Он умел привлекать к себе внимание, рассказывая про передвижение домов, а затем срывал аплодисменты своим артистичным чтением стихотворения Барто, и экскурсанты долго восхищались его почти что «мочаловскими минутами».

Тогда я и поняла, что нет мне иной дороги, что я должна вести именно этот маршрут под названием «Мой дом переехал». Тема была близка и понятна, чтобы освоить её быстро, — водить людей во дворы и открывать для них спрятанные здания, которым удалось спастись от сноса. Я показывала фотографии, иногда придумывала истории от лица этих зданий, а в самом конце маршрута, в Саввинском подворье, чувствуя острую тоску по своей родине и своему дому, которого, по правде, никогда

Зинаида Палванова

Опыт стихотерапии

* * *

*Памяти сына
Памяти друга*

Я помню, что давно когда-то
ужасно похудела —
влюбилась по уши.

И вот опять худею...
Отличный способ похудеть —
единственного сына потерять.

Для закрепления успеха —
ещё и друга
вслед за сыном.

Из таинства не делаю секрета:
любовь и смерть —
простейшая диета.

* * *

Воюю с постаревшим станом.
Лицо прикрыла синей маской.
На рынок еду с чемоданом,
а не с коляской.

Не может мне помочь мой мальчик —
я понимаю без укора.
А серебристый чемоданчик
ещё к тому же и опора.

Он к седине моей подходит —
чем не везенье, чем не пруха?
Держусь... И до меня доходит:
туристка я, а не старуха!..

Гуляючи от тризны к тризне,
не знаючи, куда прибуду,
я путешествую по жизни —
по тайне, по игре, по чуду.

* * *

Сын ушёл.
Навсегда.
Навсегда ли?

Теперь у меня
родственные отношения
с тайной мироздания.

Друг ушёл.
Навсегда.
Навсегда ли?

Теперь у меня
личные отношения с Космосом.
Можно сказать, интимные...

Последняя встреча

Пальма в окне у тебя
размахивала крыльями.

Ты взглянул на неё
и сказал: ветромер...

Пальма — это трава, ты сказал.
Арбуз — это ягода, я сказала.

А болезнь твоя — это что?
А беда моя — это что?

Ты меня провожаешь до двери.
На груди у тебя — «тревожная кнопка».

Я гляжу в глаза твои торопливо,
я не знаю, не чую, не ведаю,
что в последний раз гляжу...

И ухожу.

«End»

Какая холодрыга в доме!
Подарок твой, микроволновка
стакан воды согрела для меня.
И написала: End.

И раньше так бывало...
да, много раз бывало, но сейчас,
когда звоню, звоню, звоню,
а ты не отвечаешь, *фрэнд*,
мне страшно...

Ты умер. Сообщение пришло
в секунду эту.
End.

* * *

Миндаль расцвёл,
чтоб утешать меня.

Террасы зеленеют
для того же.

Открылось небо,
яркий свет зажгло...

Спасибо. Помогло.

2023

Наталья Мармелюк



Феникс

Рассказ

Я сижу на крыше. Это моё, и только моё, место. Отсюда видно настоящий Петербург с покосившимися антеннами и проржавевшими листами железа на старых особняках. Дома упираются в тяжёлое небо, точно поддерживают, чтобы не рухнуло прямо на Невский проспект. И оно держится. Серое небо. И серый асфальт под ним. А между ними цветные дома.

Выход на крыши вообще-то запрещён. Но в нашем парадном в каждой квартире верхнего этажа есть ключ. Для безопасности. А квартиры у нас всего три. В двушке живу я с мамой и папой. В однокомнатной — баб-Зина. Она давно не выходит из дома, потому что «ноги не те», а воздухом, говорит, и на балконе дышать можно. А трёшка давно пустует. Хозяйева лет пять назад в Германию переехали, и она стоит. А до крыши никому нет дела. Я и рада. Чем меньше соседей, тем лучше. Я незаметно стянула со стены ключ и сделала в ларьке копию. Вот и выбираюсь сюда, когда дома становится невмоготу.

А ещё на крыше есть место, откуда хорошо запускать воздушного змея. Ни проводов, ни антенн поблизости. А ветер такой сильный, что ни один воздушный змей перед таким не устоит. Я папу часто просила купить змея и научить меня им управлять. Папа обещал. Пару лет назад. Но, кажется, забыл. И я не напоминала. Я решила, что мы запустим змея тогда, когда всё наладится...

Когда нет дождя, я выхожу на эту площадку и выпрямляюсь во весь рост. Подставляю лицо ветру и закрываю глаза — представляю, что держу в руках верёвку. Змей непременно оранжевый и крылатый. Так мне хочется. И он парит над городом, над крышами и дворами, над тротуарами и кофейнями, отбрасывая мягкую тень на шумный проспект.

В тот день я возвращалась из школы привычной дорогой. Через дворы — я так люблю. Людей и машин в старых дворах мало, и можно услышать ветер. Он забирается

Мармелюк Наталья Викторовна родилась в 1988 году в городе Джамбуле (Республика Казахстан). Окончила Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Участница Форума молодых писателей СЭИП (2021) и проекта «Мастерские» АСПИР. Печаталась в журналах «Костёр», «Вверх тормашками», в сборниках «Как хорошо уметь писать — 14», «Новые имена в литературе. Новые писатели», «Дыни пахнут солнцем». Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

в печные трубы, которые давно уже не дымят. И гудит. И мне кажется, что он рассказывает истории. Я всегда пытаюсь угадать, о чём они. Иду и фантазирую себе. Если бы я записывала, целая книжка бы уже получилась. Но я боюсь. Боюсь, что перечитаю потом и пойму, что я бездарность. И все мои истории полная ерунда. А пока они только в моей голове — это особенные миры. И от этого хорошо на душе. Чем ближе я подхожу к дому, тем меньше хочется улыбаться. Заходить в подъезд — настоящая пытка. И не потому, что дверь весит, как пара слонов и я запыхиваюсь, пока её открываю. Дело в другом.

Перед тем, как зайти в парадное, я, точно северный шаман, призываю тишину. «Пусть-пусть-пусть будет тихо-тихо». И скрещиваю два пальца. Потом прикладываю магнитный ключ. Жду, пока дверь запищит, и перешагиваю через порог. Замираю, прислушиваюсь. Тихо. Выдыхаю. Не единого звука. Ни одного. На этот раз повезло.

— Женька!

Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Серёжа Смирнов из 8 б. Мы с ним на олимпиаде по французскому познакомились. Хороший такой парень. Не задавака, как некоторые. Только что он здесь делает?

— Женька, привет! Ты здесь живёшь? — спрашивает Серёжа.

— Привет! — киваю я.

— Да ладно?! Я тоже теперь здесь живу.

— Шутишь? — меня передёргивает.

— Не шучу, — улыбается. — Мы только что переехали. В триста шестую.

— О ужас! — кричу я и тут же зажимаю рукой рот.

— Ты чего, Жень?

— Ой, прости, — я покрываюсь красными пятнами — так всегда, когда мне становится стыдно. — Я забыла купить молоко. Мама меня убьёт. О ужас! — снова повторяю я. Но это выглядит совсем неестественно, и я с глупым видом добавляю: — Увидимся. — И несусь в магазин.

В прозрачном пакете у меня рядом с булкой болтается молоко. Вот же дурында, а. Теперь Серёжа даже в мою сторону не посмотрит. Не то чтобы... Ну почему у всех вокруг нормальные семьи, а у меня...

В голове всё время вертится воспоминание. Мне семь. Я сижу на скамейке возле нашего парадного. Рядом сидит Маша. Мы обе молчим. Маша часто приходила ко мне в гости. Мы с младшей группы дружили. И всегда хохотали до колик в животе, когда оставались вдвоём. А тут — молчим. Маша в тот день сказала, что ей больше нельзя приходить ко мне. Мама запретила. Потому что узнала, что мои родители часто ссорятся. Сказала: «У Жени неблагополучная семья, с ней лучше не дружить». «А я хочу дружить, — сказала тогда Маша, — поэтому и пришла. Только в квартиру мне подниматься нельзя».

— Мы благополучные, — возразила я. — Папа — архитектор, а мама — учитель. И одеваемся мы прилично. И в квартире чисто. Папа не пьёт. И даже не курит. Мама вкусно готовит, всегда красивая и опрятная... Просто они постоянно ссорятся. Не умеют жить мирно. «Неблагополучные» — это другое.

— Так мама сказала. — Маше было неловко, я это видела. И мне было неловко. Но неблагополучные — это другое.

Так мы просидели на скамейке всю следующую неделю. Почти не разговаривая. И больше уже не получалось у нас смеяться. Потом Маша перестала приходить к нашему дому. А я перестала звать. С тех пор я никогда никому не говорила,

что родители ссорятся. Это была моя, и только моя постыдная тайна. И в гости я больше никого не приглашаю.

Вообще-то Бог, если он есть, обо мне немного позаботился. С рождения у меня снижен слух. Я не глухая, нет. То есть глухая, но не совсем. Со слуховым аппаратом живу как все. Его видно, конечно, этот аппарат. И батарейки постоянно надо менять. Но с ним я просто нормально живу. Несмотря на инвалидность, которую в карточке мне врачи написали. Мама говорит, что это не болезнь, а особенности моего организма. И за это я ей очень благодарна. У каждого свои особенности. У меня снижен слух. Но это ничего. Я даже в хоре пою. Просто без аппарата не всё слышу. Поэтому с рождения как бы защищена от всех этих дрызг и ругани. Но когда я без аппарата, а они ссорятся, мне кажется — это нечестно. Они-то друг друга слышат. И мне их жалко. Часто ночами, когда мама и папа ругаются, я достаю аппарат из электронной сушилки, включаю и слушаю. Пока они не успокоятся и в доме не станет тихо. Лишь бы не прозвучало слово «развод». Я всё жду этого, как приговора. Я уверена, что тут же умру на месте. Раз-вод. Это как в сердце взорвать гранату. Раз-вод. И конец всему. Чёрный экран, как после титров.

На следующий день после школы Серёжа догнал меня в одном из дворов. Ни слова не сказал про историю с молоком. Просто пошёл со мной рядом. Было хорошо вот так брести привычной дорогой и говорить о всяких глупостях.

Серёжа рассказывал, как прикусил однажды язык, когда спрыгнул с дерева, и как потом кусочек языка пришивали. Рассказывал, что коллекционирует старые фотоаппараты. У него даже «лейка» пятьдесят четвёртого года есть. И вообще оказалось, что он круто снимает. Я думала, он в интернете просто картинки красивые размещает, а это его фотографии. А ещё Серёжа каждый год участвует в фестивале воздушных змеев. Он сам своего змея смастерил. Сказал, что это несложно. Обещал и меня когда-нибудь научить.

А я, неожиданно для самой себя, рассказала, что пишу стихи и кручу в голове истории. Что однажды и книгу напишу. Когда перестану бояться. Серёжа посоветовал мне всё-таки записывать эти истории. А стихи предложил в соцсетях размещать. Я как-то не решалась на это раньше. Может, Серёжа прав и стоит попробовать?

Когда мы подошли к подъезду, я незаметно скрестила пальцы, только бы родители не ссорились. Или по крайней мере делали это беззвучно. Серёжа придержал мне дверь, и я протиснулась в душный подъезд. Было тихо. И я облегчённо вздохнула. Болтая, мы поднимались по лестнице. И только я хотела рассказать Серёже о своём месте на крыше, как чётко услышала грохот. И следом за грохотом крик мамы:

- Если бы я знала, какой ты!
- Давай, вали всё на меня одного.
- А разве не ты тогда вложил все деньги в этот чёртов проект?
- Этот чёртов проект кормил нас два года. И только потом прогорел.
- Оставив кучу долгов.
- С тобой невозможно разговаривать.
- А с тобой жить невозможно... Ненавижу тебя!

Стыд-то какой. Щёки моментально краснеют, точно не родители, а я твержу эти бранные слова. Их голоса гудят в моей голове. Слова, одинаковые изо дня в день. Будто их записали на плёнку и крутят по кругу. Обшарпанные стены подъезда словно

смотрят на меня с укоризной: «Это в твоей квартире!» Провалится бы сейчас под землю. До самой магмы. Чтобы тут же сгореть от стыда и не мучиться.

Я застываю на месте и не могу взглянуть на Серёжу. Упираюсь глазами в пожелтевшие носки когда-то белых кроссовок. А потом разворачиваюсь и бегу вниз по лестнице. Не знаю куда. Просто подальше отсюда.

Чердачное окошко скрипнуло, я вздрогнула, но не обернулась. Я вообще, когда страшно становится, не то что пошевелиться, дышать не могу. Затем заскрипели старые доски и зашуршал гравий.

— Можно? Было открыто, — раздалось за спиной.

И вместо ледяного страха тело обдало жаром. Я сразу почувствовала, как вспотели ладони и над губой появилась испарина. Это был Серёжа.

Я кивнула, не поворачивая головы. Серёжа опустился на кусок оргалита, который я приволокла из папиной мастерской. Стало тихо. Даже ласточки, свившие гнездо прямо под шифером пару недель назад, куда-то подевались. Весь город, казалось, затих. И мне нечего было сказать. Пусть Серёжа тоже считает мою семью неблагополучной. Плевать. Грубое слово, да. Но в самую точку. Я почему-то так рассердилась. Сейчас вот выгоню его отсюда. Это моё место. И мой кусок оргалита. И семья моя. И вообще...

— А мои совсем развелись, — сказал вдруг Серёжа.

— Как? — только и выдала я в ответ.

Тут же стало стыдно. У человека родители развелись. Совсем. И он мне об этом говорит. А я...

— Ну вот так. Тоже ссорились много лет. А потом развелись. Вот мы с мамой и переехали. Отец в старой квартире остался.

— И ты не...

— Что?

— Да, глупость, наверное... — Я снова покрылась пятнами и принялась накручивать локон на указательный палец. — Просто мне всегда казалось, что если родители разведутся, то я умру.

Я почувствовала себя дуручкой в этот момент. Умру. У человека уже развелись. И он сидит цел и невредим. А я что? Дурында.

Но Серёжа не засмеялся, а тихо сказал.

— И мне так казалось.

Мы снова молчали. Тут, наконец-то, ласточки вернулись к гнезду и стали щебетать. Серёжа улыбнулся.

— Стрижи? — тихо спросил он.

— Ласточки.

— Я их всё время путаю.

— Я и сама...

— Не умирают от этого. Как оказалось. Больно просто. Но знаешь... Теперь хотя бы тихо у нас. Может, это всё-таки правильно...

— А я всё надеюсь, что мои помирятся. Возьмут однажды и перестанут ругаться. В детстве я всякие глупости придумывала: например, если перешагну сразу через две ступеньки, то всё наконец-то наладится. Или, если буду получать одни пятёрки...

— У тебя лучшие оценки в параллели.

— Пока ничего не помогло, но я...

— Жень, подожди, — Серёжа взял меня за руку и слегка встряхнул. — Жень, я знаю, что тебе гадко, знаю, как тебе хочется нормальную семью. Только, Жень...

— Ничего не выйдет, да? — я с трудом произнесла вслух эти слова.

— Этого я не знаю: выйдет или не выйдет. Только ты ничего не должна для этого делать. Это их отношения, им и решать. А ты можешь продолжать их любить, что бы там дальше ни было... Понимаешь?

— Нет... То есть да. Но как же? Это же моя семья... Я столько лет. Блин. Ты ведь прав...

Я думала, что должна их спасти. Я думала, что умру, если ничего не смогу изменить. Но вот сижу здесь, живёхонькая. И даже слегка улыбаюсь. Потому что впервые в жизни мне стало легко.

Было всего четыре утра, когда от Серёжи пришло сообщение: «Жду тебя на крыше».

Я надела слуховой аппарат и со всех ног бросилась на чердак. Как была — в пижаме с Каспером. Только ветровку на плечи накинула.

— Чего ты в такую рань? — спросила я и замерла.

На куске оргалита лежали какие-то палочки, верёвка и ярко-оранжевое полотно.

— Змей! — вскрикнула я.

— Тихе, — Серёжа приложил палец к губам. — Весь дом перебудишь. На вот, держи верёвку, сейчас покажу, как связать направляющие.

Несколько часов мы возились со змеем. И вот, наконец-то, у моих ног лежал красивый воздушный змей цвета хурмы.

— Как назовём? — спросила я.

— Давай ты, — улынулся Серёжа, — это же твой первый змей.

— Пусть будет Фениксом, — сказала я. — Феникс всегда возрождается, несмотря ни на что.

— Феникс — неплохо, — кивнул Серёжа.

И вот змей парит над Невским проспектом, над крышами и дворами, над тротуарами и кофейнями, отбрасывая оранжевую тень на просыпающийся город. А я — самый счастливый человек во Вселенной. Я никого не должна спасать. Просто любить. Это так легко.

Илья Фаликов

Сотая интонация

О Наталье Аришиной

Никогда не ощущал себя литкритиком и не был им, а по отношению к стихам Аришиной — тем более. Но про стихи современников писал много, и однажды — о ней. Это совпало с 200-летием Пушкина.

Наталья Аришина, после долгого полуотсутствия, напечатала стихи в № 9 «Нового мира», и ей не помешало, что она, с ее сокровенным звуком, угодила в такой шумный юбилейно-фанфарный год. «Это Пушкин в России всегда виноват». Так оно и есть. Пушкин виноват и в том, что аришинские стихи, ему посвященные, выросли из созерцания подмосковного захолустья, где «у шлагбаума гипсовый Пушкин сидит», и там, разумеется, ходит стрелочник.

Не ищи виноватых. Терпеть не могу
объяснений, но будет простое:
это стрелочник, стрелочник гонит пургу,
тополиное семя пустое.

Всё то же — вопрос вины. «Не причитать же: в чем моя вина?/ Плюнь, разотри.
Сокроемся в пустыне!»

Её увековечим. Золотой
бархан восточный станет нашим домом
единственным. Пока ещё пустой,
молчит и ждёт в пространстве незнакомом.

Оказывается, поэзия и не собирается уходить из этих своих старинных забот: совесть, вина, долг, иллюзия. У Владимира Соколова сказано: «Можно жить и в придуманном мире». Аришина цитирует другой соколовский стих: «Не маячить, не лстить, не сорить», переиначив его: «Не уповать, не спорить, не сорить». Кстати говоря, в ее небольшой подборке предостаточно прикровенных аллюзий (Пастернак, Ахматова, Чухонцев, даже Маяковский), но в том-то и дело, что всё это не выпирает, не лезет на глаза, пребывая там, в золотом бархане, или ещё удаленнее и выше — где-то в дальневосточном небе.

Где же ты, Небесная ткачиха?
На небе побудь.
Для тебя одной светло и тихо
лётся Млечный Путь¹.

Мы, разумеется, показывали друг другу то, что писали. Отзывы были на домашнем языке, на языке звукосочетаний и жестов, понятных лишь нам двоим. Я и вообще мог нечленораздельно промычать или кивнуть головой, поскольку умение устно говорить о стихах нередко и вовсе уходит из арсенала общения. Она была предельно насторожена, иногда приуменьшала степень моей включенности в происходящий процесс, полагая, что не вовремя подсунула мне то, к чему я не расположен в данную секунду. Но она вся состояла из страха самонавязывания, чуть ли не ненависта себя за то, что пишет стихи, а они, проклятые, толкают автора на сцену. К слову, о сцене. Она бежала от нее куда подальше, а когда оказывалась на ней, испытывала подлинную муку, деревенела, теряла голос, сдерживала слезы, кляла судьбу. От которой не отвертишься.

Это не нервы. Это издержки ненависти к самозванству. Сюда входят робость и скромность, и знание своего места, и нежелание урвать чужое, и равнодушные к успеху, но дело не во всем этом — дело в достоинстве.

Не совестно, что я безумно жить
хочу бесценных дней моих остаток?
Не уповать, не спорить, не сорить
и на челе безоблачном носить
достоинства бесспорный отпечаток.

Она многое недоговаривала в стихах. Ей казалось, что читатель равен ей, что он поймет ее с полуслова. В черновиках ее верлибра о смерти светлейшего князя Воронцова есть попутная помета, что княгиня у тела умершего мужа — аналог Натальи Николаевны у смертного одра Пушкина. Мне это в голову не пришло, а она думала, что ее поймут все.

Это свойство было у нее смолоду. По ее мнению, я должен был знать то, что знает она. Я не смог — по невежеству — уловить присутствия Жуковского («Светлана») в стихотворении «Сочельник», из-за которого я остался при ней на всю жизнь — да, напрочь полюбил стихотворение. Терпеть не могу повестей о первой любви...

Ей было шестнадцать, когда она написала:

Падает снег, кружится,
воздух наполнен кружевом,
призрачным лёгким кружевом.
Девушки ночью завьюженной
в полночь гадали о суженом,
в зеркало глядя пристально.
Туфельку в снег не выставлю,
в ночь за порог не выставлю.
В зеркало мне не заглядывать,
милого мне не загадывать.
Падает снег, падает.

1959

Я не знал, что за очарованием этого стихотворения стоит триста лет русской поэзии, к которым эта девчонка из девятого класса была приобщена, а я... Да что говорить. Для меня жизнь на планете Земля начиналась с Маяковского.

¹ «Арион», № 1, 2000.

Но у меня — десятиклассника, редактора школьной стенной газеты — хватило чутья на помещение «Сочельника» в нашем задорном издании. Это было в том же 59-м...

Я не помню, откуда я узнал о появлении в школе этой девочки. Кто-то сказал. Я отыскал ее быстро, испытал с первого взгляда некоторое разочарование: передо мной было нечто прозрачное, на тонких кривоватых ножках, с кроличьей шелкой меж верхних зубов, с торчащими косичками, без никаких признаков противоположного пола. Но стишок взял.

Школа была Первой, Центральной, имени Пушкина.

Она приехала во Владивосток из Питера. Отец — морской офицер, военврач. Семья жила в самом центре города, в элитном доме. У отца была большая должность в медицинском управлении Тихоокеанского флота. Ничего этого я не знал. Годом раньше кончив школу, я встретил ее уже в коридорах университетского филфака. Гадким утенком не пахло. Опущу подробности, мы поженились.

Козье упрямство и бесконечная уступчивость в одном флаконе. Я женился на поэтессе, а она быстро превращалась в жену поэта. Буйная молодость не предполагала возражений, жена поэта считала своим долгом бесконечно уступать. Ее законодателем тогда был вот этот Фет:

Я знал её красавицей; горели
Её глаза священной тишиной, —
Как светлый день, как ясный звук свирели,
Она неслась над грешною землёй.

Я знал его — и как она любила,
Как искренно пред ним она цвела,
Как много слёз она ему дарила,
Как много счастья в душу пролила!

Я видел час её благословенья —
Детей в слезах покинувшую мать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.

Ее возмущал Тургенев, в свое время не принявший этого шедевра. Хотя тургеневскую прозу в поздние годы она читала чуть не ежедневно.

Она тогда почти оставила стихописание, но не настолько, чтобы мы не решили отправить ее в Москву — в Литинститут. Ее приняли по стихам, ни блата, ни вообще знакомств и хлопот. На свой семинар ее отобрал Лев Ошанин. Больше всего, кажется, его привлекла ее фамилия. Позже, когда они подружились, он шутовал, частью своей природы будучи массовиком-затейником:

— Эх, Наташка, была бы ты помоложе...

Ошанин плохо видел, но у него был абсолютный слух, своих семинаристов он узнавал по голосам, Наталья ценила некоторую душевную широту его, хотя вполне понимала, что узреть в ее стихах влияние Пастернака было как минимум слепотой. Она, кстати, как следует еще не знала ни Пастернака, ни о роли Ошанина в пастернаковской истории 58-го года. Тем не менее она окончила Литинститут, защитив диплом (рукопись книги стихов) на отлично. Книгу на его основе так и не издала.

Почти всю пору ее студенчества я отсутствовал. Бороздил моря, по ее выражению. У нас рос сын. Она была одна. Стихов было мало. Молодость — самая продуктивная относительно стихов пора — уходила. У нее оказалось по-другому. Она расцвела и расписалась в иные годы, вопреки календарю.

Не могу отыскать первого «Терновника». Первого — потому что есть второй. Первый вышел в «Советском писателе»: 1983. Второй — в «Предлоге»: 2003. Затерять в собственном доме собственную книгу — это в духе ее автора. Ее редкостная собранность была ответом на ее же отрешенность.

Второй «Терновник» появился потому, что ей резко не нравился первый. Примеры дублирования заголовка были. У Шкляревского — книга «Лодка» (1964, 1977), у меня — «Месяц гнёзд» (1975, 1986). Аришина не терпела ни первой своей книги, ни второй — «Зимняя дорога» (М.: Современник, 1985). Ее не устраивал уровень письма, владения стихом, нелады с лаконизмом, несколько мотивов, ставших ей не интересными, прежде всего — фольклорные отголоски, лобовой патриотизм.

Русская уроженка Баку, она с некоторым опозданием осознала богатые для поэзии возможности того места, в котором родилась и провела детство. Выростала она в Дербенте (у деда с бабкой) и в Прибалтике, где служил отец. География стала щедрой гостьей и дарительницей этих стихов. География распорядилась передвижениями офицерской семьи и впечатлениями офицерской дочери. У данной географии границ не было, или она была такой необъятной, границами которой служили само небо и само море. Морей было много, от Балтики до Чёрного, от Азова и Каспия до Охотского и Японского. Флора и фауна соответствовали масштабам этого грандиозного мироздания. Между прочим, девочкой она любила Маяковского.

В мегаполисном сердце под ритмию,
под сурдинку её, под её угрозы
обещала себе, что вовек не стану
покидать семихолмие роковое.
Вейнянмёйнен в чреве Огненной Рыбы
добывает огонь, и рокочет руна,
ищет Винонен, горьким темнея ликом,
злую истину в море огненной влаги.
Возвращаюсь с Запада восвояси.
Спешно маятник жизни, со свистом ходит.
Возвращаюсь с Востока, лечу обратно.
Автобаны мелькают, теряют звёзды
то одну, то другую свою подругу.
Трус объял острова — и Большая Суша
на японский ужас глядит китихой,
ошельмованной двадцать первым веком.
Потому ль, что слаба я глазами стала,
стала видеть не то, что глазами видят,
от Балтийского моря до Океана
по былым маршрутам шутя гуляю.

Ее инструментами были и телескоп, и бинокль, и микроскоп. Правильно отметила Таня Бек (памяти которой посвящены стихи о Большой Суше): «В стихах Натальи Аришиной <...> всегда было вдоволь воздуха и пространства. Ветер, колыханье туч, громы существуют в этой лирике как параллели к человеческой жизни, вдруг пересекающиеся в сетчатке художницы. Да, именно художницы, ибо и впрямь — смело назвать бабочку “пространства резвая шепоть” может только стихоживописец, к когорте коих принадлежит Аришина». Прав и Даня Чкония: «Каково же главное свойство аришинской поэзии? Это странное, нечасто встречаемое сочетание открытости и недоговоренности. Это не есенинское “нараспашку”, но и не ахматовская поздняя склонность к переусложненному шифру (правда, вызванная, может быть, в том числе и подцензурностью). Аришиной движет лаконизм, нежелание перебалтывать. Она говорит с читателем на равных». Она отзывалась стихами или писала стихи-посвящения еще до того, как друзья отзывались о ней.

Муза, воспой Даниила, поэта и брата!
 Что мне Европа и добрая эта столица?
 Всё в ней на совесть, и всё в ней с хорошей оглядкой.
 Помнит и твёрдую руку барона Османа.

Муза, воспой Даниила. Беспечный даритель,
 некогда мне преподнёс он Тифлис и Арагву
 и на закате — литой силуэт цитадели.
 Бойтесь данайцев — без умысла дар Даниила.

О ней писали и Гриша Кружков, и Борис Романов, с нашим домом связанные давно и прочно. Она была магнитом. Кабы не она, у меня не было бы многих дружб. Не говоря о стихах и прозе. Дружбы складываются причудливо. Она говорила «друзей не выбирают», имея в виду, что это — судьба. Потерю друзей она переживала остро.

За окном норд-ост ревет в куртине,
 тот ещё солист.
 Держится на скрюченной рябине
 жёлтый дряблый лист.
 Рвётся на последний жалкий рубль
 пятаки спасать?
 Дружбу на естественную убыль
 нелегко списать.

С годами все больше становилось других потерь. За год до своего ухода она потеряла Св. Б-ву — безбашенную, безоглядную, безответственную, безмужную, бескорыстную, горемычную подружку с литинститутских времен. У той был сын от одного когда-то известного поэта, а звали мы ее промеж себя — Чума. Наташа недоумевала риторически: «За что я ее люблю?» Не только любила. Но и все прощала, вплоть до потери единственного экземпляра рукописи своей повести, данной подружке на прочтение как ответственному секретарю одного неплохого толстого журнала, существовавшего лет десять. Несколько стихотворений ее памяти было написано в течение года.

От часовни дойду до пролома.
 Далеко забралась ты от дома.
 Без тебя наступает зима.
 Ты *туда* заспешила сама.
 Оглянусь: в образцовом порядке
 в голом поле могилки — как грядки.
 Тех, кому не хватило земли,
 за Москву хоронить привезли.

В дневнике, обдумывая эту кончину, она перечислила несколько незначительных, доступных кладбищ, среди которых было Захарьинское, где в скором будущем появилась и ее могилка.

Так что — чтобы понять поэта, надо стать другом дома? Или другом дома становится тот, кто понял поэта? Казуистика. Да, ей надо было, чтобы ее понимали. Это бывало нечасто, и писали о ней друзья-поэты, а уж об отзыве статусной литкритики мечтать не приходится. Наша литкритика носит повязку Фемиды. Читательских восторгов тоже не наблюдалось. Да и кто видал эти малотиражные фитюльки в форме книжек? «Много ль имеющих уши найдётся?» («Наука поэзии»). Чудовищным парадоксом был тот факт, что читательская слепота к ее стихам

совпадала с ее собственным отодвиганием себя на второй план. Она была так устроена, что всё ею сделанное могла легко отнести к заслугам других лиц. Она и мне приписывала доблести, мне не принадлежавшие.

Это отражается на образе ее автогероини, носительнице аришинского «я». Ни малейшей агрессии, самовлюбленности, истерического эгопупизма. Это не похоже на сиропных лирических героев и героинь прежних времен — у нее достаточно, даже слишком, самоиронии и самобичевания.

Она часто вспоминала ахматовскую вещь «Учитель», памяти Иннокентия Анненского:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованием,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся...

Позже Наташа напишет реплику на это стихотворение:

Тот, кого учителем считаю,
тот, кого, закрыв глаза, читаю,
слава Богу, в здравии живёт.
Горькую не пьёт.
Соседа хает.
Охает.
Мучительно вздыхает.
Как всегда, шедевры создаёт.

Как видим, никаких ученических умилений-воспарений. Всё по-взрослому. Но пиетет к учителю был пожизненным.

Это рифмовалось с пастернаковским:

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Пастернаком пронизано ее «Переделкино» с эпиграфом из Горация в пастернаковском переводе: «И нам сплетут венок из лавра / Или из свежего сельдерея».

Гефсиманский сад не был нараспашку.
Господи, спаси от напрасных зол.
Помнишь, как, надев белую рубашку,
в соснах промелькнув, он к Тебе пошёл?

Она пряталась за то дерево, о котором говорила, она отдавала свой голос траве или волне, переоблекалась в пепел, осыпавший крымские горы. Ее южные стихи не были курортными, поскольку там — на юге — она пахала на наш прокорм (частный сектор!), бегала на рынок, трудилась как проклятая.

Я — вольная муза в томительной муз черед.
Я мало прославила мужа, безумца, пиита.
Но спальня, едальня, стиральня — ничто не забыто.
Я дольного мира большой ужасаюсь тшете.

Я не сразу осознал, что она родилась на юге. В этом постепенно убеждали ее стихи и модус вивенди на южных берегах, где она жила как у себя дома: и в Коктебеле, и на Пицунде, и в Анапе, и в Ялте. Южная тема была органическим продолжением темы детства, перешедшего в зрелость.

Её «я» никому ничем не угрожало, не капризничало, не заменяло собой весь мир. Она ценила женственность — чужую и свою. У нее не было лирической героини — в ее стихах действовала она сама. Ее последней подборкой стали собранные воедино стихи, посвященные поэтессам.

Глубоко родственными она видела фигуры таких поэтесс, как Мария Петровых или Вера Маркова. О первой существуют мандельштамовские стихи:

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В тёплом теле рёбрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Аришина словесно отреагировала на эти стихи после того, как в художественном музее, где-то в Амстердаме или Брюсселе, увидела «Рыбу» Магритта. У нее получилось так:

Облепила рыба чешуя
без надежды вырваться на воду.
Чем попало обрастаю я
ни себе, ни близким не в угоду.
Мне бы риф какой-нибудь простой:
занырнуть — и никогда наружу.
Я в пещере поселюсь пустой,
навсегда себя обезоружу.
Никакого зла не причина
необъятной ласковой пучине,
никого на свете не вина,
скроюсь там по внутренней причине.
А пока — лишь камни под ногой,
боль в суставах, плавники прижаты.
Я с тобой увижусь, дорогой.
Но никто не знает точной даты.

О Марковой — в свой черед:

Жила же Вера Маркова в саду
камней. Их было многовато.
И я не по стопам её бреду,
а только окликаю виновато
рис поливной да ирис голубой,
бамбуковые палочки для смака,
колонию моллюсков и прибой,
который их кусает, как собака.
Я всё сама найду на берегу.
По мне стихи без «эль» — сплошная мука.
Не стану каллиграфом. Ни гугу —
во славу иероглифа, но — звука.

Последняя строка отзывается на стихи Межирова:

Я тебе подарил только звук,
Только собственный стих, незаёмный,
Только сущность поэзии тёмной.

В начале марта 69-го мы с Межировым стояли вдвоем на крыльце Литинститута. В сквере задержалось прощальное зимнее тепло, падал пушистый снег. В институтских стенах проходили похороны Валентина Португалова, поэта, преподавателя института. Доносились звуки Шопена. Межиров рассказывал мне о жестокой судьбе Португалова, много лет прошедшего на Чукотке, на зоне, где пьяные вертухаи выводили зэка ночью на снег к стенке, постреливая в него для разнообразия. Внезапно Межиров вспомнил стихи:

Я в твой высокий дом по лестнице взбегаю,
и холодом судьбы от белых вет стен.

Почему это вспомнилось перед лицом смерти и свирепости бытия? Это были стихи Наташи, я их не знал, она потом их отыскала у себя в памяти. Межиров тогда сказал мне о ней: «Поэт милостию Божией».

Этого не оспорить.

Маки предгорий кровавой толпой
реже мне снятся, мой сон не тревожа.
Знаю, любимый, всё меньше я схожа
с девочкой смуглой, пленённой тобой.
Тихо, твоих не коснувшись святынь,
прочь я ушла и скитаюсь по свету.
Но стрелокрылую ласточку эту
кто мне послал в поднебесную стынь?

Весь ее первый курс мы не виделись, я часто звонил ей из Владивостока прямо на вахту общаги. Однажды, загулав с артистами приморского драмтеатра, сообщил ей, что завел театральные романсы, она сказала: «Лучше сделай новеллу». В другой раз, во время нашего с ней разговора, мимо нее проходил Рубцов, я попросил его к телефону¹. Прилетев в Москву, я ревниво приглядывался к переменам, которых было немного, но она, разумеется, менялась, приобретала нечто другое, но не радикально. Скажем, усилилась, так сказать, славянофильская линия, тогда распространенная среди московской интеллигенции. Еще Евтушенко спрашивал: «А что поют артисты джазовые?»

Ты, товарищ мой,
не попомни зла.
Здесь, в степи глухой,
схорони меня...

Вот и Наталья спела мне «Вьюн над водой...» и «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Вьюн потом вошел в ее стихи.

Как твои стебельки потемнели...
Налетят холода да метели.
Вьюн ты, вьюн.

В печке вьюшка. На печке — подружка,
с пивом кружка да хлеба горбушка.
Вьюн ты, вьюн.

Были и такие удачи, но уже позже (1972):

¹ См. *Наталья Аришина*. Воспоминания зарифмуются. Записи на ходу. — Дружба народов, № 9, 2021.

Жар торфяники душил, и леса горели.
 К середине сентября тучи налетели.
 Не ко времени впилась молния в болота.
 Обозначилась пора птичьего отлёта.
 Гусь мой сизый! Оглянись на последнем взмахе.
 Оброни перо с крыла для подбитой птахи.

Не остался на ночлег. И была б охота —
 так у нас о той поре высохли болота.
 Гусари, гусари,
 день гусепролёта!

Тогда же, в конце 60-х, ее постигло увлечение Анненским («Ты опять со мной, подруга осень»), гумилевские стихи:

К таким неожиданным и певучим бредням
 Зовя с собой умы людей,
 Был Иннокентий Анненский последним
 Из царскосельских лебедей.

Я отвечал ей Гумилёвым же, из «Пятистопных ямбов»:

Ты, для кого искал я на Леванте
 Нетленный пурпур королевских мантий,
 Я проиграл тебя, как Дамаянти
 Когда-то проиграл безумный Наль...

Мы развивались в одном направлении, никто никому не диктовал, не навязывал чуждого и лишнего, и это давало основания тому же Ст.Лесневскому принимать нас в некое единство, игрово сравнивать с теми же Ахматовой и Гумилёвым, и в итоге мы получили от него царский подарок — двуединый том «Сговор слов» (2008), вышедший в его «Прогресс-Плеяде», издательстве, ставшем родным и близким. Мы там числились литературными консультантами: чтение рукописей, их рецензирование и корректорская вычитка, иногда редактура и проч., и проч. Но это было уже в новые времена, далеко отстоящие от прежних. В этой книге каждый из нас предварял свою часть стихотворением, обращенным к соавтору. Она — так:

Я прочла твою рукопись, молча расставила знаки
 под гипноз полнолуния и вой одичалой собаки.

Под окном шелестело листвою Иудино древо
 и мигалками звезд освещалось то справа, то слева.

Что мне эта осина, что висельник этот, Иуда?
 Как прикажешь мне век доживать, не надеясь на чудо?

Вопреки одичанью, предательству, лунному свету
 я прочла твою рукопись — другого прибежища нету.

2002

Я ответил старым стишком:

Без упоения, сухо
 годы накопим, и глядь:
 — Дай-ка мне руку, старуха,
 надо бы кости размять.

Выйдем вдвоём на дорогу,
где, не дожив до седин,
юноша выплакал Богу
душу один на один.

1979

Я имел в виду Лермонтова, а получилось — о сыне.

В мемуарной повести «Воспоминанья зарифмую» она ничего не лакирует, но опускает некоторые эпизоды, отягощающие память. Она, например, не пишет о том, что какое-то время подрабатывала уборщицей в гастрономе напротив общаги Литинститута на ул. Добролюбова. Литинститутские алкаши паслись вокруг нее, сшибая трешки на опохмел. Она не пишет о том, как за полночь, когда, будучи референткой прокуратуры, возвращалась после вечернего дежурства, на станции Томилино ее постоянно встречала стая огромных бездомных псов, сопровождая ее до избы, где она снимала угол для себя и нашего сына.

Она и в стихах обошлась без жалоб и надрыва. Она училась сдержанности, видимо, у Ахматовой. Уже в молодых стихах она умела говорить так:

Разве с бедою разлуки сравнится
радость увидеть сына подросшим?
Радость увидеть сына подросшим
только с бедою разлуки сравнится.

Когда случилось самое страшное несчастье в ее жизни, она сказала: «Мой сын поселился в Ракитках¹». Было и другое высказывание, более развернутое, но не менее строгое и на вид неумелое, наивно-примитивное:

В бабье лето его родила я на свет.
А всего только двадцать мне минуло лет.
Разве знала я бабьи печали?
Был нежданно-негаданно дан мне сынок.
Был зачат он в любви. Был он выношен в срок.
А звезду его мы не видали.
И, конечно, волхвы не тащились сюда,
где в потёмках до срока таилась беда,
но ему не распяты грозило.
Не мечтала о мальчике царских кровей,
не хотела венца для кровинки своей,
о великой судьбе не молила.

Это не первая редакция стихотворения, написанного еще до несчастья и не раз перепечатанного в ее книжках. Она правила стихи не в сторону формального блеска, но затем, чтоб уточнить смысл и звучание. Это нормально.

Ее хлебом не корми, а подай хождение в библиотеку, сидение в читальном зале, погружение в аппарат серьезных книг. Подготовить именной указатель, вычитать цитаты — настоящий кайф. То же самое — дотянуть собственные стихи до уровня, необходимого ей сегодня, в меру нового понимания поэзии. Не позволяй душе лениться.

За несколько постперестроечных лет в гипертиражном журнале «Работница», ведая культурой с литературой, она сумела обеспечить многомиллионного читателя

¹ Ракитки — кладбище (Прим. ред.).

материалами достойного уровня, и сама, пишучи журналистику, охватила содержательных людей отечественной истории от Анны Filosoфовой до семьи Рябушинских. Такою себя она раньше не знала, ей нравилось самообновляться на новой ниве. Стихов не бросала и свою очередную юбилейную дату отметила в «Работнице» (или «Огоньке»?) подборкой с таким стишком:

В этот день растаял по оврагам
утаённый снег,
расплылись чернила по бумагам.
Краток бабий век.

У меня племянница гостила.
Из моих черновиков
по ручью весеннему пустила
сорок челноков.

Андрей Вознесенский поздравил ее со славным сорокалетием, когда она позвонила по рабочей необходимости на его дачу в поисках Зои Богуславской, жены поэта. Читал ведь всенародную периодику... Пришлось признаваться в устарелости данной информации.

Чистюля, аккуратистка, обязательнейший из обязательных людей, она и в стиховом своем хозяйстве постоянно наводила порядок. Межиров однажды, когда мы с ним заговорили о ее творчестве, высказался в том смысле, что она педантична. Это не похвала. Он обоим нам в разные времена говорил о недостатке творческой воли. Я не совсем понимал этой терминологии, пока в одном из писем ко мне он не провел знак равенства между творческой волей и раскрепощением формы...

Она правильно его понимала. Стих ее становился свободней, смелей, сложней в плоскости простоты. Правдивость языка, естественность стиха, непосредственное чувство, прямой смысл — вот, собственно, основные свойства подлинной поэзии, и аришинские стихи соответствуют им.

Здесь уместна межировская самохарактеристика:

Мне подражать легко, мой стих расхожий,
Прямолинейный и почти прямой,
И не богат нюансами, и всё же,
И вопреки всему, он только мой.

На самом-то деле она была хулиганкой. Циклом стихотворений о Воронцове она дерзит, страшно сказать, самому Пушкину, отстаивая историческую справедливость в подходе к исторической фигуре. В стихах она нередко делала то же самое, что и на улицах: в респектабельных скверах и садах срывала цветы с клумб, наплевав на блюстителей порядка. Зеленые лужайки Александровского сада, густо усеянные беленькими маргаритками, хорошо помнят ее набеги. Там в свое время росли великолепные сирени, два роскошных куста, и до того, как почему-то исчезли, Наталья срывала их вожделенные веточки на глазах у изумленной публики. В молодости часто цитировала Юнну Мориц: «Воздух пахнет прогулом уроков». К слову, в школе она часто сачковала.

Григорий Кружков в отзыве о нашем с ней совместном томе «Сговор слов» говорит: «Мужское начало в этой книге достойно уравнивается женским. Русских поэтесс после Ахматовой и Цветаевой часто помещают в двумерную систему координат, оценивая, чего в них больше — ахматовской элегичности или цветаевского накала. В Наталье Аришиной от Цветаевой — практически ничего. Значит, всё от Ахматовой? Не совсем так — хотя точки пересечения есть, даже биографические: например, детство у южного моря. Представьте себе Ахматову — но не в “ложноклассической

шали”, а в брюках и ветровке, не слушающую “Чакону” Баха, а внимающую путаным проблемам соседки, не бездомную и беспомощную в быту, а занятую готовкой или стиркой, умеющую и любящую все это делать — устраивать быт, улаживать трудности жизни. Тогда вы примерно представите лирическую героиню этих стихов».

При этом, как сказала Цветаева, «поэта далеко заводит речь», и Кружков входит в неведомые мне слои атмосферы: «Бытует мнение, что брачный союз поэтов неустойчив, как радиоактивное ядро. Самые знаменитые пары неминуемо и трагически распались — от Ахматовой с Гумилёвым до Сильвии Плат с Тедом Хьюзом. Как пример пожизненного и гармоничного союза вспоминаются разве Элизабет и Роберт Браунинги — их история стала уже легендой английской литературы».

Борис Романов смотрит из своего угла, отзываясь на книжку «Поблажка»: «Вообще говоря, русская женская поэзия началась когда-то с соперничества двух поэтесс — Евдокии Ростопчиной и Каролины Павловой. Если Ростопчина простодушно восклицала: “Прощай! Роковая разлука/ Настала, о сердце моё, / Поплатимся долгою мукой/ За краткое счастье своё”, то потом Брюсов подхватил как раз строчку раздумчивой и не по-женски мастеровитой Павловой о поэзии: “Моё святое ремесло!” В аришинской лирике, очень женской по своему настрою, по видению деталей, удивляет почти мужское мастерство. Вообще же сочетание мужской хватки и женского начала мало кому из поэтесс дается. Они, как ни странно, более рассудочны, нежели поэты. Но ничего заведомо расчисленного не отыщется в этих стихах, посвященных памяти Кузьминой-Караваевой: “Увы, я засыпаю лишь во мраке —/ и наяву нельзя увидеть мне/ кузнечика, сложившего подкрылки/ на пожелтевших скифских черепках,/ апостольника узел на затылке/ и чётки в нецелованных руках”».

Правильно сказать: оба правы, здесь нет спора. Это грамотный взгляд на стихи современницы. Но элементы выучки, усвоенные уроки являют себя при случае и по необходимости. В стихотворении «Плаж» (словечко взято у МЦ, то есть у Цветаевой) хорошо слышен знакомый звенящий голос со страниц «Вёрст» или «После России»:

Море морщится. Дети спят.
Ровно пять. Облака. Накат.
Кувыркаются два дельфина.
Приближаясь, слепит машина.
Фары выключи, психопат!

До ее отъезда в Москву (1967) мы оба были захлестнуты цветаевской волной. Она знала наизусть всю молодую Цветаеву и ее жизнь. Межировский этап у нас начался с его совета переключиться на ахматовский вектор. Но Наталья и Ахматову знала всю. Если мне нужна была цитата из Ахматовой, я бежал к Наташе.

Пожалуй, по стиху, по его волновой уравновешенности Аришина с самого начала следовала больше за Ахматовой. Межировские советы были впрок, но: «Можно было бы сказать, что я ученица Межирова. Но он учил, как Анненский Гумилёва <...> “десяток фраз, пленительных и странных, как бы случайно уроня”. Слишком многое из того, что ронял Межиров, я не могла поднять, я в те годы была к этому не готова. Я училась сама, но с оглядкой на него»¹.

Литинститут тех лет (вторая половина 60-х) мне представлялся сборищем полуграмотных сопляков, место которым в заводском литобъединении, а не во дворце Герцена. Единственным достойным человеком был Рубцов, но он был изгнан из одного вуза и ютился наездами в его общаге по общему либерализму времен. Я тоже там обитал, но недолго.

У Межирова мы с Натальей не прошли тест на переводы. Я напортачил с осетинским поэтом Нафи Джусойты, она не справилась со средневековым арабом

¹ Наталья Аришина. Воспоминанья зарифмую. Записи на ходу. — Дружба народов. № 9, 2021.

Ибн Кузманом. Межиров, давший нам эту работу, не принял ее и был страшно взволнован нашим непониманием ответственности переводческого ремесла.

Мы понимали, но не умели. Литература как профессия была еще впереди. Мы пребывали в детских, непорочных представлениях о литературе. Соотношение стихов и денег отсутствовало. Дом творчества был абстракцией. В 80-х (у меня уже был десятилетний стаж в Союзе писателей) у нас появились Коктебель, Пицунда и Переделкино, но однажды, помнится, я на подходе к коктебельскому Дому творчества услышал от проходящей группки молодых людей: «Здесь живут миллионеры». Я топал за ними в старых шлепках и нелегких раздумьях о том, чем мы будем жить по возвращении домой в Москву.

Она часто говорила, что она не москвичка. Меня это раздражало. Почти вся жизнь прожита в Москве. Как-то я спросил, есть ли у нее родной город? Она не нашла ответа. Но в стихах он был, и это был Дербент.

Какие-то твари стрекочут впотьмах, и листья шуршат и тростник.
 За то, что я пришла в этих местах, попала я вам на язык.
 Но я не отвечу на полувражду, постыдно наклепать беду, —
 и доводов много в уме приведу. Тоскливо в их длинном ряду.
 За крепостью в редких зубах кремальер знакомо припрятался мрак.
 Расплюшил магалы в ковровый шедевр один пехлевийский мастак.
 Мой дед врачевал в четырёх областях такой разномастный народ,
 что многое о человеческих страстях наверное знал, наперёд.
 Его разговорами о пустяках не раз отрывали от дел.
 Мой дед говорил на пяти языках и мёртвой латынью владел.
 Ни щепки — исчез кипарисовый крест, чувяками вытопан склон.
 Бушует гордыня, пустынно окрест, законный не вырвется стон.
 Какая скупая в овраге трава! Не пахнет лекарством полынь.
 Чужие поступки, чужие слова. Смирись, не потворствуй, остынь.
 Расслышу цикаду — и сердце замрёт. Колодезный ворот поёт.
 И лошадь слепая на вечность вперёд ни капли воды не прольёт.

«Пришлая». Это ощущение не отпускало ее нигде и никогда. Больше всего, повторяю, она чуралась самозванства. Однако наши стихи знают больше нас. На онтологический холод отвечает всечеловеческое родство. Привязка к местности существовала искони и возникала всюду, куда ни приводила судьба. Осознание Востока расширилось, можно сказать, беспредельно.

Что не спишься тебе? Что ты бродишь? Какая морока?
 Это — ветер! Вторую неделю он дует с Востока.
 Это зёрнышки мака скрипят на зубах и песчинки пустыни.
 Это ветер с Востока, с Востока он дует отныне.

Сбросив обувь свою, и заботы свои, и привычки,
 оставляешь босые следы на одной половичке.
 Всюду пыль да песок. Сухо, пусто в оставленном доме.
 Убегаешь в поля, как верблюдица спишь на соломе.

Совсем другой Восток. Ее, бывало, уличали в подражании Луговскому, она несколько недоумевала: да, он ей нравился, но не настолько же. Русский Дальний Восток, японская культура — параметры восточного ветра не имеют пределов. Точно так же ее можно было бы поймать на перепеве переводов с японского Веры Марковой, но это неправильно, поскольку перед нами абсолютно неповторимый голос, единственная интонация:

В сумерках окончила стихия
буйство многих сил.
Сквозь прогнозы редкостно плохие
вечер проскочил.

Осторожно засвечу фонарик
вместо костерка.
Снимется разбуженный комарик
с влажного песка.

Где же ты, Небесная Ткачиха?
На небе побудь.
Для тебя одной светло и тихо
льётся Млечный Путь.

Женское ощущение своей малости (уменьшительные суффиксы фонарика-комарика) подпирается мужеством предстояния перед ужасающе бездонной Вселенной. Бытийная нота в беспарной поэзии. Нечто подобное когда-то (1916) отметил Мандельштам: «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой...» Нечто похожее говорила сама Ахматова, рассуждая о Лермонтове: «...Он владеет тем, что актеры называют сотая интонация», — подражать которой невозможно.

Лишь изредка видны неоспоримые источники ее стиха. Вот, скажем, Иван Бунин, его изумительный сонет «В горах», с таким запевом:

Поэзия темна, в словах невыразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костёр и горький запах дыма!

Поэзия не как письменность, но особая субстанция, разлитая в мироздании. Молодая Аришина вторит Бунину:

Тучу пыли позади арбы
не опишешь — лёгкие слабы.
Не охватишь — дело не в словах —
тучу в небе и крыла размах.
И вершин не вечны имена.
Покорись — поэзия темна.

Можно найти и ахматовские ноты. Нет, нет, я не предлагаю новую кандидатуру на роль Ахматовой. Первым человеком, мне возразившим бы в этом случае, была бы Наталья. Прошли времена для подобных допущений. В прошлом веке — возможно. Но не сейчас. Потому что той неотвратимой дихотомии, той бронзово-мраморной пары русских поэтесс (Ахматова — Цветаева) не то чтобы нет, но картина стала шире, небосвод глубже, голоса разнообразнее — от Евдокии Ростопчиной и Каролины Павловой до Виславы Шимборской или Эмили Дикинсон.

Она проштудировала фундаментальный том «Польские поэтессы» в переводах Натальи Астафьевой, и эта пара — Астафьева и Британишский — ее сильно привлекала, тем более что одна из первых книжек Владимира Британишского называлась «Наташа». Однажды у них — у Аришиной с Британишским — состоялось деловое свидание, на которое она пришла в топике, шортах и сандалиях, а он — в унтах. Это были существа с разных планет.

Аришина не очень-то углублялась в иноязычную поэзию, но знала, читала, ценила и сама неплохо переводила, даром что по подстрочникам. Она считала себя лишенной артистизма, но это было чушью. Она жаловалась и на отсутствие

музыкального слуха. Я не знаю, как мог перевоплотиться, вжиться в иноземный образ русский человек, чтобы написать так, от своего лица, не по зову перевода, но в ряду своих других оригинальных стихов:

Двупалые ножки в носках —
копыта ягнёнка.
Трусливый сквозняк
кимоно подняло рукавами —
моё кимоно с журавлями.

Цветущую вишню держала
в своём изголовье —
ты ветку отбросил,
осыпал её лепестками
моё кимоно с журавлями.

Курльчит журавликов стая.
Весь год тосковавшая вишня
расправила ветки.
Сама для другого сняла я
свой шёлковый пояс.

Это было написано еще до нашего с ней посещения южно-курильского острова Шикотан (1989), который в одиночку я освоил еще в 63-м году. Надо признать, во второй половине прошлого столетия русскую поэзию посетило веяние японской. Однако Наталья пришла к японцам еще со школьной парты — Приморье сильно отдает паназиятским соседством. См. «Большую Сушу», посвященную памяти Тани Бек.

Был такой случай. Таня Бек однажды внезапно стала упрекать меня в том, что я наградил Веру Павлову премией Аполлона Григорьева и произнес пламенную речь в ее честь. Это была галлюцинация. Ничего подобного не было, кроме того что мы с Натальей посетили вечер этой премии, где Вере Павловой вручили заслуженную награду, и я вкратце, еще до того, откликнулся на одну из ее книжек. Такого сюжета применительно к Наталье произойти не могло в принципе. Я писал о массе поэтесс, мотив ревности всплывал крайне редко. Не без того, разумеется. Однако.

Таня перепутала меня с кем-то, исходя, по-видимому, из моего участия в премии «Антибукер». Там — да. Вручал. На банкетах вручения «антибукеровской» премии я всегда был с Наташей, и в тот вечер, когда получил свою награду Борис Рыжий, молодые ребята из «Независимой газеты» («Антибукер» принадлежал этой газете) были наповал убиты поведением новоиспеченного лауреата, страстно лобызавшего в уста мою жену. Борис, собственно, не помнил того, что было на банкете, когда навестил нас дома и потом звонил без счета из Екатеринбурга. Меня в эти моменты часто не бывало дома, и в одном из разговоров Бориса с Натальей он попросил ее почитать ему свои стихи. Почитала — возрадовался. Так появилось посвящение ему, уже по его уходе, над стихотворением «Ехал на маленьком ослике лекарь...».

Ехал на ослике лекарь и, кстати,
без стетоскопа, не в белом халате.
Меньше бы стало больных на планете,
если бы в белом халате он ехал,
если бы ехал он в белой карете?

Ко всем моим делам она относилась как к своим. К Рыжему ревновала, а к Цветаевой нет. (Ее ревность шла от судьбы нашего сына.) Я говорю о сочинении мною книг для серии ЖЗЛ. Подробности опять-таки опущу, но на книге о Цветаевой стоит посвящение: «Наталье Аришиной, соавтору этой книги». Это не красное словцо,

это бледное отражение того, как Наташа вложилась в нашу совместную с ней книгу на 853 страницы. Распространяться не буду, но без нее не было бы ни этой, ни других моих жэзэловских книг. Она этого не сознавала! Это называется самозабвением. Ее восхищала постройка. Да, строил я, но стройматериалы (из архивов и библиотек как минимум) поставляла она. Я называл ее своим НИИ. Полрукописи набрала на клавиатуре компа она, поскольку это были цитаты, ею же отобранные из стихов и прозы МЦ.

В одном из южных стишков той поры я нацарапал:

...Завален берег музыкой старинной,
и, заполночный выдыхая зной,
ты старый спор затеяла с Мариной
о том, кто больше властен надо мной.

Не было этого. Наврал.

Покойная Любовь Спиридоновна Калюжная, издательский редактор моих ЖЗЛов, отпуская нас на юг, всякий раз причитала: «И ни одного с ними взрослого!..»

Ее отец начал морскую службу в Кронштадте. Через много лет там же умерла ее мама. Там жила ее сестра. Остров Котлин ощущался своим. Не забывалось — там родился Гумилёв. Я мнил себя певцом Курил. Моим островом был Шикотан. Она сказала еще в молодости:

Не живут на твоих островах
ни сирены, ни звери, ни страх —
только птицы на быстрых крылах
да мужская свобода.

А меня, как былинку, ветра
вдруг на остров с короной Петра
уронили в золу у костра
на краю небосвода.

Со временем этот остров все чаще вставал в ее стихах, со многими подробностями, вплоть до проблемы строительства дамбы. Корона Петра тускнела, в жизни и стихах властвовала повседневность.

Сестра на острове в ночи дожётся телефонной льготы,
помехи все перекричит беспомощным: «Ну как ты? Что ты?»
Привычное житьё-бытьё, но ветер всхлипнет тонко-тонко.
По дамбе к острову её несётся пыльная шебёнка.

Собственно, она возвращалась в Питер, откуда приехала во Владивосток. Круг описывался, концы сходились. В Питере жили наши друзья. Жил там и пел о нем Александр Кушнер. Мы не могли не пересечься.

Дорогие Наташа и Илья!

Сначала — о книге¹, которая раскрывается не сразу, на первых страницах даже раздражает невнятные стихами (с. 5, 6, 10, 11, 13, 16...), более или менее случайно попавшими в книгу — так мне показалось.

Но постепенно за голосом Натальи я стал различать ахматовский привкус — и это мне понравилось, когда возник «южный сюжет», — все встало на свои места. По-моему, книга начинается где-то с 35 страницы, с 41-ой — и дальше до самого конца читал,

¹ Наталья Аришина. Поблажка. Книга стихов 2003—2005. — М.: Кругъ, 2006.

не отрываясь: очень точен, узнаваем этот морской берег, запустение, развал, как будто гуляешь среди руин погибшей цивилизации. Очень хорош словарь — все эти названия трав, цветов и т.д. Всему веришь, всё видишь.

Итак, скажу еще раз: книгу надо было начинать с «морских стихов», а «московские», может быть, не включать вообще. Возник бы один захватывающий лирический сюжет, который держался бы на таких стихах, как «Степь да степь, ковыльная, седая...», «Вывелись имперские замашки...», «Здесь обитала, витала...», «В городском бюджете не означен...» и т.д.

От стихов пахнет йодом, морскими водорослями, сухой травой, солнцем, запустением... Очень хорошо!

Позволю себе сказать о нескольких досадных шероховатостях: стр. 95 «затяжно», «кобеля» — с.111, с.113 — «облегчило».

Зато какое хорошее стихотворение «Не так жестока власть мирская...», «Простонародье тянется на юг...».

Я рад, что прочел эту книгу.

Лена¹ тоже ее прочла и говорит, что полностью разделяет мое мнение. Шлет Вам и Илье сердечный привет.

Мы тоже очень горюем без Тани Бек, не можем смириться с этой утратой.

Это был 2006 год, в прошлом году Кушнер получил премию «Поэт», а я был редактором его книги «Аполлон в траве», вышедшей у Лесневского в «Прогресс-Плеяде» аккурат к получению той премии. В процессе редактуры мы с Лесневским время от времени сталкивались на почве разных трактовок кушнеровских мыслей. Был и спорный пассаж о Лермонтове, который я отстоял. Это нашло отзвук в том письме:

Дорогой Илья, разумеется, я, получив книгу, сразу увидел, кто ее редактор. Надо было тогда же поблагодарить Вас, но я как-то всё откладывал это до какой-нибудь встречи в Москве. Вы правы, я часто цитирую по памяти — и ошибаюсь. Спасибо за поправки! И за Лермонтова. Ваше одобрение книги мне дорого.

Мы с Леной желаем вам обоим здоровья, стихов, публикаций, бодрости, радости, — в новом году.

Ваш А.Кушнер

Я не был абсолютно согласен с Кушнером относительно такого большого количества — 34 страницы! — неудачных стихов в «Поблажке». Но вместе с ним был «рад, что прочел эту книгу». Кушнер прав — это книга драматична, тревожна, совестлива, и все это на фоне могущественно прекрасной природы.

Простонародье тянется на юг
и старожилы уплотняют ловко.
Вдали от вилок и дорогих услуг
вовсю идёт народная тусовка.
Ты попусту хотела тишины.
До бухт пустынных не доходят ноги.
Там южная окраина страны.
Там турки суетятся на пороге.
В народе жить — не сахар и не мёд.
Осточертела эта коммуналка.
А у причала — белый пароход.
Да денег нет. И родственников жалко.

¹ Елена Невзглядова — жена А.С.Кушнера, филолог и поэт (в качестве поэта печатается под псевдонимом Елена Ушакова).

Вопрос белого парохода у нас никогда не стоял, мы никуда не собирались. Ни отплывать, ни уезжать, ни улетать. Время от времени она говорила:

— Я никуда не хочу.

— А тебя где-нибудь ждут?

Она обожала Париж, знала его как свои пять пальцев, поскольку всех, кого надо — от Дюма-отца до Франсуазы Саган, — прочла насквозь.

Было мне так хорошо, словно я дома,
с белым помятым пежо с детства знакома.

Наш дом завален языковыми словарями, принесенными ею. С французским языком у нее были особые отношения, она не раз принималась за него, каждый раз что-то мешало, но в экстренных случаях, по рабочей необходимости она сама переводила нужные ей тексты, а в Германии с одной замечательной немкой лихо общалась на русско-немецко-французском наречии.

Сомневаться не приходится, самые глубокие, болевые связи у нее были со своей страной во всей ее необъятности и проблемности.

Ещё не выжжена полынь, ещё всю пылают маки,
морская синь, и неба синь, и две блохастые собаки,
старик с разорванной губой, его тельняшка и наколка.
На редкой глине голубой не процветает быт посёлка.
Ель затеняет сельсовет, как старое бельмо — ресницы.
И флага нет, и власти нет, поют щеглы, звенят синицы.
Баркас ржавеет на мели. Кому спускать его на воду,
коль в этом уголке земли не прибавляется народу?

Что касается старика с разорванной губой, этот персонаж фигурирует у нее в разных обличиях от бича до бобыля, — это было острым предчувствием незавидного будущего одного близкого ей человека.

Конечно же, она, «европейка нежная» (Мандельштам), была на редкость русской. Я не сумею описать ее внешность, а когда попытался — в своем романе «Белое на белом», — вызвал ее недовольство: видимо, получилось ужасно дифирамбически. Она лишь раз процитировала мои стихи о ней:

Пряником на скворчиные фиоритур
в неформатно коротком плаще
весь апрель референтка из прокуратуры
шум сирени несла на плече.

Но это было стихотворение о Тверском бульваре, и ей понравился сей бульвар в моем исполнении больше, чем она сама на нем.

Да, свою былую увлеченность народной песней и вообще фольклором она почти осуждала за призыв поветрия. У нее был красивый отец, милая мать, а дед Аришин, запечатленный в начале XX века на фото, производил впечатление не южнорусского мужика, но барина тех односельчан, с которыми его засняли на фоне крепкой хаты. В ее лице мне поначалу померещились восточные черты, я вырос в татарском дворе, и дворовой моей любовью была Расима из соседнего полуподвала, и это имя я воспроизвел в медовомесячной поэме на какой-то роковой сюжет. Поэт Михаил Львов (к слову, по национальности татарин) в ресторане ЦДЛ, увидев меня с ней, воскликнул: «Молодая Белла!» Ахмадулина в это время сидела неподалеку за роскошно сервированным столом во главе с Нагибиным, ей было тридцать. Наташа походила не на Беллу как таковую, а на образ Беллы — тот, что закреплен в стихах и виден издали. Тем не менее после евшушенковского концерта в Политехническом, когда мы сидели

в комнате за сценой, Евтушенко со вспыхнувшими глазами, уставленными в Наташу, узнав о ее озабоченности закричал: «Белла!» — а это было под Новый год 2013-го и к нашей молодости не имело отношения.

Не имею права быть красивой,
не имею право быть счастливой,
не имею права быть хвалимой,
не имею права быть любимой.

Как-то проректор Литинститута Ал. Михайлов спросил у четырехлетнего Илюшки, нашего сына, показав на его мать: «Кто это?» Тот ответил: «Наталья-красавица». Я всю жизнь спрашивал неизвестно кого в мировом пространстве: «За что мне всё это?» Я знал, что живу с нездешним существом.

Свою красоту она считала гипотезой, не научным фактом, однако могла и воспользоваться этим грозным оружием. Наш обожаемый Станислав Стефанович Лесневский — яркий, щедрый и неуправляемый — на свой очередной каприз получил однажды в ответ ледяную отповедь со стороны Аришиной, я тихо удивился, она шепнула: «Ему это нравится». Естественно. Лесневский был воспитан на поклонении Прекрасной Даме. Его издательство было блоковским. Но Блок, каким бы немцем он ни был по крови, по характеру и по стилю, нам с Натальей не блазил, когда мы пребывали в поместье Генриха Бёлля, где я состоял в стипендиатах фонда Бёлля. Вдова нобелевского лауреата сразу же прониклась к ней симпатией. Блок стал ясней и ближе, когда мы стали посещать Шахматово, — вот где обнажился источник его поэзии, ее национальные корни. Наташа любила это место. Русскость была дана ей от природы, от Бога, и грех было избегать того, что является твоей сутью.

Не так жестока власть мирская.
В косынке до бровей
себя на волю выпускаю
из всех монастырей.
На Троицу лило нещадно,
и через весь сыр-бор
я к морю шла, впиваясь жадно
в немислимый простор.

Никто не звал меня обратно
и лба не осенял.
Я понимала непревратно
язык прибрежных скал.
И за берёзовым кропилом
не так рвалась душа,
как этим тучам сизокрылым
бесцельно вслед спеша.

Ничего кликушески-припадочного. Более того, березовое кропило вторично относительно туч сизокрылых, и как легко, незаметно оттолкнувшись от земли, женщина в косынке до бровей воспаряет в немислимый простор. Кушнер небеспричинно отметил эту вещь, хотя именно он возмущенно сторонится всяческой стилизационной фальши, в том числе а ля рюс.

Она вступила с ним в диалог. По-своему. Строка «Причерноморье — не преддверье рая» в стихотворении «Вотчина» — это спор с Кушнером, у которого сказано:

Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.

Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орёл,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.

Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чём не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморённая послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцающая морским ободком.

Аришина напрямую и расширительно реагирует на эту вещицу:

Я с вами согласна, что рай — как подъезд к Судаку,
когда виноградник сползает с горы на боку.
Но с севера нынче ворота бесспорного рая
для въезда закрыли, на каждый засов напирая.
Не я при деньгах, чтобы Ницца меня задалась,
родня объявилась, дождём благодать пролилась.
От родственных связей надёжно себя берегу —
ни я у родни, ни она у меня не в долгу.
Как в нищую юность, попала я в общий вагон.
Он весело скачет, несёт мою жизнь под уклон.
Случайный попутчик дрянное вино из горла
всё пьёт не напьётся, стакан не беря со стола.
Раз восемь на сумке прочла я призыв *bon voyage*,
глаза проглядела в окно, выбирая пейзаж.
На то он и рай, чтоб туда не попасть никогда.
Вдоль тряской дороги о том же звенят провода.

Она перевела разговор с виноградных радостей бытия на ту же тему белого парохода и прелестей общего вагона. Это разговор не с тем Кушнером, которого знают все, а с тем Кушнером, который живет внутри ее огромного читательского опыта. Попутно отрефлексированы и те «восемь раз», о которых нам стало известно из стишка Веры Павловой про чтение текстов на стенке лифта.

Все скручено в один жгут.

Свой «Виноградник» она написала независимо от чужих стихов, не считая, разумеется, древнего праисточника:

Увёртливой не выдержав погоды,
ни флокс, ни бальзамин не зацвели.
Два резвых пса неведомой породы
залаяли, когда вы мимо шли.
Ну что тебе чужие бальзамины?
И пёс любой породы — только пёс.
И счастья прошлогодние руины
оплакивать смешно, повесья нос.
И, заглянув в заглохший палисадник,
не ужасайся, руки заломив.
Тропа ведёт на старый виноградник.
Ты свой не сторожила, Суламифь.

...Евтушенко тотчас понял, что склонить меня, поначалу сомневающегося в моем сочинении книги о нем, надо через Наташу. Он звонил, они подолгу разговаривали — почти как с Рыжим. Потом раздался звонок Ю.Нехорошева, «евтушенковед номер один»:

— Включите радио, там Женя говорит о Наташе.

Включили на финише передачи. Евтушенко читал ее стихи:

И афрорусский хлопец врёт,
что он лишь шоколадный зайчик,
и перлами сияет рот,
оскалясь на грозный пальчик.
Не горячо и босиком,
а дальше — разные прогнозы.
Над остывающим песком
летают в сумерках стрекозы.

Закончил он так:

— Вот такая она, Наташа Аришина.

Он поместил наши стихи в новую свою гомерическую работу — «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии», напечатав в «Новых известиях» написанное для этой антологии эссе о нас «Двупоэтье — семейная редкость» с мадригалом в придачу¹:

Я люблю эту дивную пару
двух поэтов — её и его,
по земному идущую шару,
не сминая на нём ничего.

И как будто в единую душу,
всё вместившую — шторм, тишину, —
верю в Фаликова Илюшу
и Наталью Аришину.

Двупоэтье — семейная редкость,
если это пожизненный дар,
если в чувствах не скрытая ревность,
не соперничества угар.

Если это такое сращенье
без потери лица своего,
как в единой купели крещение,
ненасильственное родство.

А ведь он не знал и не предвидел, сколько драгметалла она нарвет для книги о нем, ведя раскопки в своей любимой Театральной библиотеке на Большой Дмитровке. Там была ценнейшая информация, зафиксированная на страницах советских газет, еще не уничтоженных к той поре.

Для антологии Евтушенко отобрал чистую лирику Аришиной, не рассмотрев среди ее стихов того, что, казалось бы, больше подходит к сфере его гражданских интересов. Я бы подсказал ему стихотворение «Мария».

Снится куст терновника горящий
и сквозь пламя — голос, говорящий:
«Беженка, Мария!»

Снится бабка с ликом византийским
и под ветром рвущимся каспийским:
«Беженка, Мария!»

¹ Научный редактор антологии В.В.Радзишевский мне пишет: «Вышло всего пять томов антологии. Она построена по хронологии рождения авторов. Пятый том заканчивается Глазковым, который родился в 1919 г. Шестой том (от Слуцкого до Ахмадулиной; 1919—1937) у меня давно готов, но издавать его некому. Ваша с Натальей Сергеевной подборка — в оглавлении седьмого тома, которое начинается Высоцким (1938), — между Игорем Волгиным (1942) и Марией Аввакумовой (1943)».

От холеры — вниз по Волге?! Мати!
Мне с тобою вместе подыхати,
на ветрах бакинских полыхати.
Полымя. Стихия.

Выжила. Но нет дороги к дому.
Слышишь гул бакинского погрома,
беженка Мария?

Чёрный город навалился с гиком.
Помоги им в полыме великом,
помоги, Мария!

Помоги гонимому гонимый!
Куст горящий, куст неопалимый,
помоги, Мария!

Отметить евтушенковское девяностолетие 18 июля 2022 года мы с Наташей пришли на его могилу. Там оказалась его сестра Лёля Евтушенко с дочерью Машей. Помянули, опрокинув по стаканчику привезенного с собой саперави на соседней могиле — Пастернака. Мимо проходили паломники, кто-то незнакомый спросил «вы Фаликов?», чтобы узнать дорогу к Музею-галерее Евтушенко. Потом мы с ней пошли к ожидавшему нас Ряшенцеву, который теперь занимает второй этаж дачи, на первом этаже которой жил Соколов. Он как раз вернулся из Грузии, где отмечал свое девяностолетие.

Всё едино.

Ее посмертный том назван «Немилосердные лета». Вечер ее памяти в марте 2023 года назывался «Тихо тебя окликну».

Тихо тебя окликну. Ты промолчишь в ответ,
сколько б ни миновало немилосердных лет.
Знаю, что оборвётся, словно в немом кино,
сна непрочная плёнка, выцветшая давно.
Летнее новолунье. Нет ни звезды в окне.
В летнее новолунье свиделись мы во сне.
В летнее новолунье, острым блестя серпом,
месяц тропой знакомой спящий обходит дом.
Нет у меня ответа ни на один вопрос.
Как происходят в небе жатва и сенокос?
Как происходит это в новые времена?
Как, не молясь, уходят вечным путём зерна?

Здесь большую метафорическую нагрузку несет серп новолунья, уточняя источник стихотворения — «Путём зерна» Ходасевича.

И ты, моя страна, и ты, её народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всеми живущему идти путём зерна.

1917 г.

Но дольник ее стихотворения по звуку генетически связан с другой вещью Ходасевича — «Дактили» («Был мой отец шестипалым...»). Вряд ли было так

задумано — так вышло. Мотив тишины звучал в ней издавна. Нет, выдуманная литкритикой «тихая лирика» тут ни при чем. Но в пору нашей молодости даже шумный Вознесенский возопил: «Тишины хочу, тишины!», а Рубцов написал: «Тихая моя родина...»

Но всё уже было. Был Пастернак:

«Тише!» — Крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

Была Ахматова:

И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идёт.

Межиров:

Муза тоже там жила,
Настоящая, живая.
С ней была не тяжела
Тишина сторожевая.

Соколов:

Вот и нет меня на свете.
В мире тишина.

Дар внутренней тишины редок. У Наташи он был. Он обнаруживался и в ранних ее вещах, опровергая нелепые жалобы на отсутствие слуха.

У озера Ах-Гель
в платке с цветной каймою,
серьёзна и тиха,
кого-то ждёт Гюльшат.
И, глядя на неё,
идёт навстречу зною
прохлада
с горных круч.
И камешки шуршат.

Довольно долгое время — несколько лет, не так и давних, — я проповедовал уход от ямба в духе пушкинского «четырёхстопный ямб мне надоел». Я вещал (у себя дома): хватит ямбов! А она их писала и писала. О, как она была права. Я убеждался в ее правоте каждый раз, когда знакомился с ее новым ямбом.

И. Ф.

Шумит платан, закрывши полдвора,
дворняга бродит, волоча оковы.
Ловя пустопорожний звон ведра,
идут на дойку пегие коровы.
Лишь я живу во времени ином.
В моих часах не двигаются стрелки.
Их заводить не стоит перед сном,
к старухам выходя на посиделки.
Их заводить не стоит на заре,
к античности спускаясь на раскопки,
туда, где пшат — в шуршащем серебре,
а бабочки мечтательны и робки.

Честно восхитившись, я получил новое посвящение «И.Ф.», которых набралось много. Но ведь и писала она много. Не только ямбом. В ее книжках — симфония разнообразных размеров, ритмов, стрóf и жанровых форм.

В 2019-м она поднялась на сборник «Общая тетрадь». Было написано предисловие.

Моя первая книжка «Терновник» вышла, провалявшись в издательстве «Советский писатель» 16 лет. К 1983 году, когда она попала в руки редактору Евгению Храмову (помяну его добрым тихим словом), рукописи пришлось «повзрослеть». А мое первое «выжившее» стихотворение «Сочельник» произошло задолго до этого, в мои шестнадцать. То есть «Терновник» перемолол как минимум три книги стихов, три разных времени, а естественное течение «моего времени» было нарушено. Они от этого, думаю, мало выиграли тогда, смешав в кучу и детское, и подростковое, и взрослое. По инерции еще вышла почти параллельно в другом издательстве невнятная «Зимняя дорога» (1985). Прежний порядок книгоиздания рушился на глазах вместе с государством, которому он принадлежал и соответствовал. Можно было бы запросто не выбраться из-под обломков. Но, к моему удивлению, в новом веке книгоиздание (для меня) возобновилось. У меня есть три в чистом виде книги стихов, изданные: «Поблажка» (2006), «Двойная черта» (2012) и «Форель для милого» (2018), но на самом деле их написано шесть. Не издано «Прощание славянки» (писалось в перестроечные годы и в первые годы «новой эры», зато в 2003-м вышло первое избранное, «Терновник»-2, в 2008-м — «Сговор слов»: два сборника избранных стихов под одной обложкой, Ильи Фаликова и моя. Лирика диалога, делящегося, страшно сказать, больше полувека. Последний мой по времени выхода сборник в серии «Сто стихотворений», привет ушедшего Станислава Лесневского, основателя собственного издательства. Этот сборник оказался в числе последних книг канувшей в Лету «Прогресс-Плеяды»... И как будто бы настал час составить из шести книг, написанных одна за другой, из шести тетрадок — «Общую тетрадь», отражающую естественный ход времени.

Этот текст, в немного переделанном виде получивший название «Вместо послесловия», закрыл «Общую тетрадь», подведя некоторые итоги. Мне добавить почти нечего, кроме нескольких черт нашего общего произрастания.

Мы когда-то вместе с ней читали стихи Аполлинера в переводе М.Кудинова. Это было открытием, та аполлинеровская книжка, которую я взял с собой в многомесячную крабово-сайровую путину на плавзаводе «Михаил Тухачевский» (1967). Японское и Охотское моря, Тихий океан — все-таки Наташа не на голом месте изобрела формулу моих отсутствий: «бороздил моря». В тех условиях весьма уместно звучал стих Аполлинера: «Рыба — образ Спасителя — пересекает подводный чертог».

На суперобложку своей книги «Сто стихотворений» (2013) она поместила — выбор был за автором — репродукцию картины Таможенника¹ Руссо «Муза, вдохновляющая поэта»: шаржированный парный портрет Аполлинера с Мари Лорансен, в жизни крошечной, на портрете — монументальной. Эта работа хранится у нас в Пушкинском Музее на Волхонке. Фигурой Аполлинеровой музы — неудачной жены поэта и не очень удачливой художницы — Аришина настойчиво интересовалась, посвятив ей стихотворение и напечатав очерк о ней, а в Париже (2001) мы с ног сбились в поисках ее живописи, не нашли.

Называли пичужкой с лорнетом,
признавали одною из муз.
А теперь подзабыли об этом —
безнадёжен со славой союз.

¹ Прозвище художника Анри Руссо (*Прим. ред.*).

Как ни странно, музей Лорансен существует в Японии. Бюст поэта где-то на бульваре Сен-Жермен, на фоне которого некогда сфотографировались Соколов с Марианной, мы не сумели найти, потратив целый вечер. На Пер-Лашез мы долго искали могилу Аполлинера, нашли при помощи вежливого ажана, но по пути Наталья потеряла каблук, сбив его на мощеных авеню города-кладбища.

Грохот брусчатки умирить спеша,
 листья каштаны стелили,
 и изнывать начинала душа
 около каменных лилий.

А за обителью вечных разлук —
 это финальная нота —
 вдруг полетел мой французский каблук,
 лишь затворились ворота.

Судьба полна сюрпризов. При поступлении в Союз писателей именно М.Кудинов, единственный из членов приемной комиссии, был резко против приема Аришиной в Союз. Мотивировка было размытой, что-то типа «литературная дамочка» или «писательская жена». Чудны дела твои, Господи.

Членство в Союзе... Вся эта формалистика сейчас кажется нехорошей сказкой. Тому же Межирову понадобился недожиданный переводческий дар, дабы на грани полубюрократического языка написать рекомендацию в Союз.

Со стихами Натальи Аришиной впервые встретился много лет назад и с тех пор читаю их со вниманием и живым интересом, всегда ощущая автора несомненным поэтом. Знаю несколько ее книг /в рукописях/, удивлялся, почему поэтесса медлит с изданиями. Тем более что стих Н.Аришиной изначально совершенен. Сейчас понимаю, что, исключительно требовательная к себе, Н.Аришина справедливо избрала путь несуетного накопления. Книга «Терновник» — действительно зрелое и сильное произведение. На всех страницах щедрая радость перед мощью природы. Русло речи натуральное. Язык правдив. Поэтесса наделена чувством перспективы, меры и такта. Она умеет отличить главное от второстепенного. Н.Аришина творит мир, в котором не просит пощады, удобств, готовых тропинок, равнины. Однако ее душа стремится заговорить чужую да и свою невзгону, утверждает жизнь, зная, что мир не таков, чтобы в нем можно было жить благополучно.

Стихи Натальи Аришиной современны в лучшем смысле этого слова, вечные темы в них звучат естественно. И хотя вечных тем на свете немного, они никогда не выходят из моды, всегда современны.

Н.Аришина находится в расцвете творческих сил, трудится много и плодотворно, ее уважают читатели и литераторы, она глубоко предана делу советской литературы и по праву должна быть принята в Союз писателей.

А.Межиров

Впрочем, всё верно, а последний абзац — дань официозу. 1986. СССР и другие союзы еще существуют. Нужно советским людям и дело советской литературы. Возможно, как раз межировская рекомендация послужила красной тряпкой на корриде приема в Союз.

Наталью Аришину приняли в Союз, и это как-то повлияло на получение нами квартиры, но всё уже на советской земле трещало по швам. Мне кажется, наш ордер на квартиру был последним из выданных по ходатайству Союза писателей. По крайней мере, я был последним членом Союза, совершившим долгий командировочный рейс по средиземноморскому бассейну на белом пароходе. Она прилетела ко мне в Одессу, и мы вместе посетили на белом пароходе черноморские порты: Батуми, Сухуми,

Одессу, Ялту. Я подарил ей белый шелковый пиджак, купленный на стамбульской барахолке.

Она любила белый цвет, заголовок моего романа «Белое на белом» ей нравился, как и название книжки Ирины Васильковой «Белым по белому». В ее дневнике я нашел следующую запись: «У Васильковой <...> стих долгий, строка длинная. Но там пульсация — внутри. Сердечный, несколько отчаянный, переживательный стих. Нежная женская душа, умное простодушие, сложное зрение. Интеллект, наконец». Вот чего ей надо было и от себя, и от других.

Про акварельность ее стиха ей говорил Олег Чухонцев. Про ее живописность писала Таня Бек. На наших прогулках я умучивал ее, поминутно спрашивая имена растений на нашем пути. Про флору и фауну она знала всё. Думаю, этому она научилась не только у деда с бабкой в детстве, но и у таких знатоков растительного мира, каковы Бунин и Пастернак. Как известно, Ахматова не любила Чехова. Наташа — прозу Бунина: за переизбыток плоти. Но от его поэзии была без ума.

Бывает.

Прозу она писала смолоду. Ей это нравилось. Даже когда-то подарила пару своих рассказов сестре однокурсницы, поступавшей в Литинститут, и та поступила. Одну из повестей попросту потеряла. «Восьмислойные облака», которые она называла романом, а я в спешке, готовя ее посмертный том, назвал повестью, она начала еще в перестроечные времена и долго-долго писала-дописывала-переписывала.

Подобно Пастернаку, виртуозу пейзажной прозы, в своих текстах она пользуется любой возможностью изобразить «природу, мир, тайник вселенной» (Пастернак). Ее глазомер поразителен, кисть послушна и щедра, страсть к натуре не знает усталости.

В сентябре 2022-го мы посетили Приморье. Она попыталась написать травелог, отчет о поездке. Ей не писалось. Она решила новые впечатления наложить на картины тех же мест, написанные давно. Вот как выглядит прогулка ее героини на пару с верным другом — псом Бураном:

Холодная вода покрыла ее мелкими рыбьими чешуйками озноба. Дно усыпали морские звезды, большие, маленькие, синие, зеленые, сиреневые, с узкими и широкими лучами, с оранжево-пятнистыми спинками, с короткими, как бы неподвижными щупальцами. Она брала в руки звезды, разглядывала и отпускала обратно. Морские ежи оккупировали почти круглый подводный валун. Софья слышала, что их уколы болезненны и могут испортить всё купание.

Она не стала заплывать далеко. Вышла на берег, завернулась в полотенце, чтобы, не доверяя пустынному берегу, переодеться. Впечатлений было слишком много. «Что даром рефлексировать, — решила Софья. — Напишу-ка я Бориславе».

Она вспомнила, как однажды целый коктейбельский сезон писала ей каждый день. Здесь все более крупно, зелено и влажно. Но воздух... Та сухая полынная горечь, финиковая сладость зацветающего лоха, эфирное марево лаванды, которую она покупала охапками у знакомого травника...

Дорога шла к горизонту неширокой песочно-ржавой полосой, обрамленной кудрявым лесом, сплошная стена которого прерывалась кустарником и травой в человеческий рост. Проглядывали строгие фиолетовые ирисы и рыжие саранки. Софья сосредоточилась на ирисах, выбирая только полураспустившиеся цветы и почти черные, похожие на иглы бутоны. Потом нарезала остроконечных листьев и обернула ими букет. Влажные лопухи и нетесное кольцо бечевки сверху и снизу — и букет можно транспортировать хоть в столицу. Она уже готова была набрать скорость, чтобы побыстрее и незамеченно вернуться обратно, но Буран вдруг притормозил. Пока он к чему-то принохивался, Софья обнаружила в просвете между ильмами и могучими

маньчжурскими орехами зеленое открытое пространство с одиночными, напоминающими раскрытые китайские зонты деревьями. На фоне дальних оливково-зеленых и сизо-черных сопков, зонтичных крон и травы, не заслоненный ничем, застыл крупный олень, легко держа двуствольное дерево ветвистых рогов. Пес прорычал что-то свое, понимая бесполезность поползновений на жизнь коронованного животного.

Я видел этого оленя. Точнее, мы видели его втроем — она, пес Буран и я. Летом 89-го мы шли вдоль Рисовой бухты — там, где мы гостили и осенью 2022 года у живописца Жени Коржа, на его небогатой дачке. Это юг Приморья. Земля леопарда. Жене Коржу она посвятила большое стихотворение в духе античных посланий, это было давно, и она долгие годы читала своего бесценного Горация (в переводчиках — Фет, Брюсов, Пастернак...) вкуче с кучей древних греков и римлян, включая, разумеется, и эту старую парочку — Алкея и Сафо.

Живописец Корж поглядит на небо,
развернёт свой зонт, повидавший виды.
Тюбики его на прибрежной гальке
брошены кучкой.

Выбелит скелет павшего оленя
медленный накат, подбираясь к суше,
мельтешат рачки и рыбёшек стая
на мелководье.

На волну волна набегаёт споро,
крупным валунам раздавая брызги.
Сопки лоб крутой писан многократно
и терпеливо.

Пиленгас идёт на скрипучий спиннинг,
дождевым червём соблазнившись жадно.
Затихает берег, следя зигзаги
обречённой рыбы.

Переправы ждёт местная дивчина.
Мальвами пестрит сарафанчик куцый,
и его подол налетевший ветер
треплет бесстыдно.

Не назначен нам точный день отплытья.
Золотой песок сыплется сквозь пальцы.
Знает этот час и без расписанья
Тот *перевозчик*.

Алкеева строфа, сапфическая строфа — в этом она разбиралась значительно лучше меня, по крайней мере, Горация прихватывая с собой на юг каждое лето. В виду обилия южных напитков мне досталось имя Алкидо, в качестве второго имени некогда принадлежавшее Гераклу. Рецензия на мою книжку «Прозапростихи» в старом «Литературном обозрении» называлась «Подвиг Геракла», после чего в нашем обиходе и появилось это Алкидо...

Ее позднейшие верлибры выросли из сочетания стиха античной лирики с белым ямбом Ахматовой, Бунина, Ходасевича, Блока и Гумилёва. Эту форму она любила как некую соединительную грань меж поэзией и прозой, в равной мере желая видеть их у себя.

Пал черноморский форт
 Святого Николая.
 Всё чаще
 заставали князя
 лежащим на диване —
 с погасшим лицом,
 в надетой на исподнее
 военной шинели.

 На коленях стоит княгиня
 у постели супруга,
 держа в ладонях
 обручальное кольцо,
 снятое с мёртвой руки.

По-видимому, о такой ее прозе говорит Юрий Ряшенцев: «Когда я читал прозу Натальи Аришиной, то ловил себя на чувстве досады: почему этот великолепный камчатский пейзаж не оказался в стихах? Цеховая ревность... Впрочем, и в стихах пейзаж у Наташи точен, лишен красотостей и вызывает доверие, как и все, ею написанное...»

Той Софье она отдала много своих свойств, а письма из Коктебеля (пару писем) в действительности она писала сама — жене Владимира Соколова Марианне, и эти письма Марианна с мужем читали вдвоем, вслух. Когда Соколов ушел, Олег Чухонцев предложил именно Наташе сделать в «Новом мире», где он ведал поэзией, посмертную публикацию, взяв оставшиеся от поэта стихи у его вдовы. Подборка называлась «Вот и нет меня на свете». Там были жемчужины.

...Милая, дождь идёт,
 Окна минуя, косо.
 Я ведь совсем не тот,
 Чтоб задавать вопросы.
 Я ведь совсем другой.
 Я из того ответа,
 Где под ночной пургой
 Мечется тень поэта...

Аришина писала в сопроводительном эссе:

...Из Большого Вознесения последний путь Соколова пролегал по заснеженной Москве в сторону Кунцевского кладбища. Шел снег. Соколов впервые не следил за его полетом. Никто из поэтов так не любил снегопад. Москва вела себя буднично. Вдоль ровного места, именуемого Поклонной горой, выстроились поредевшие после многочисленных вырубок деревья. Улица Рябиновая, ведущая к кладбищенским воротам, — без единой рябины. Соколовские строки возникали и возникали в воздухе. «На узкие листья рябины./ Шумя, налетает закат./ И тучи на нас, как руины/ Воздушного замка, летят».

Он упокоился под рослой белоствольной березой с раскинутыми ветками, распростертыми над двумя озябшими кустами жасмина. Дерево-распятие уже было в стихах Соколова.

«Я тоже поэт повседневно./ Как снег, я летаю зимой./ Тебе обещал я деревья./ И эти деревья — за мной». <...>

Мне было доверено разобрать почту. Письмо Юнны Мориц — на верже, бумаге «Мира искусства», — написано неожиданно детским почерком. Такому безуспешно учили по прописям в послевоенной советской школе. Несколько строчек горестно съехали с невидимых линеек. Мориц в Италии помогает Соколову выбрать платье

в подарок жене. Ему нужно непременно розовое: «Это же для Марианны!» («— Все восхваляли! Розового платья/ Никто не подарил!» — жаловалась Цветаева).

В стихотворении «Мне нравятся поэтессы...» уже предугадано, сколько прольется слез, — короткое, на половинке листа, письмо Татьяны Бек сплошь ими залито.

Руки Марианны извлекли из груди еще не ставших архивом бумаг шесть неопубликованных стихотворений поэта. Шесть стихотворений Соколов совсем недавно переписал из рабочей тетради на шести чистых листах бумаги крупным, не претендующим на каллиграфию почерком.

Первую посмертную книгу Соколова подготовила Аришина, сознательно и закономерно уступив лавры первенства в общей работе над книгой вдове поэта¹. Это было не внове, поскольку внутренняя тяга ко второму плану — ее всегдашнее состояние. Никакой авансены! Настоящие первые роли — у тех, кто уже недостижим: от Александра Сергеевича до Марины Ивановны. Все остальное — суета.

У нас с ней между собой было для нее словечко (кличка) Вайс, первая часть vice-president, каковым она была в Лиге писательниц СССР, возглавляемой Ларисой Васильевой. Та структура была создана воловьими усилиями Аришиной.

Каждое утро она рассказывала мне только что просмотренный сон. Последнее время это был один и тот же сон — про бесконечный лабиринт каких-то коридоров, коммуналок, общаг и гостиниц, чужих домов и улиц в каком-то захолустье. Выхода оттуда не было.

Путевой очерк у нее не получился. В те же последние недели 2022 года она составила подборку стихов разных лет «Мне нравятся поэтессы». Нет, наша поездка на восток была замечательной, но тень какой-то прощальной печали легла на ее лицо, и я это видел, но отнес к обыкновенной беспричинности чувств, посещающей человека в конце каждого года. Собрав свои стихи, обращенные к поэтессам, она прощалась. Все это открывается посвящением Светлане Кузнецовой, с которой она и знакома-то была еле-еле, да и то лишь потому, что — помимо чистопородной лирики — Светлана показала себя с лучшей стороны, когда на приеме Наташи в Союз писателей безоглядно бросилась в бой с упомянутым оппонентом.

После этого они сблизились, Наташа побывала у Светланы дома, была восхищена коллекцией бронзы, камней и фарфора на сибирскую тему, но их быструю дружбу пресекла внезапная смерть Кузнецовой. Ее памяти написана «Свеча Светлане».

Уже пылит безумный мельник.
Земли угрюмый черновик
вдруг перебелится на миг.
И наследит на нём бездельник.

Твоей свечи забрезжит свет,
когда тебя на свете нет.
Но твой готовится сочельник.

Сквози, бесплотна и горда.
Твои настали холода,
пути воздушные без края.

Осмелюсь я свечу зажечь.
Не отвращайся, не перечь.
Я буду зеркало стеречь.
И звать, от страха замирая.

¹ Владимир Соколов. Неповторимый венец. Стихотворения и поэмы / Сост., подготовка текста, библиография М.Е.Роговской-Соколовой, Н.С.Аришиной. Вступ. ст. Евг.Евтушенко. — М.: Новый ключ, 1999.

От сочельника никуда. С чего началось, тем и кончилось. Но, если присмотреться к этому стихотворению, обнаружится (более чем неправильный) сонет — форма, к которой Аришина никогда не обращалась, в отличие от ее любимого Бунина. Она всю жизнь твердила концовку бунинского сонета «В горах»:

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовёт. Она в моём наследстве.
Чем я богаче им, тем больше — я поэт.
Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

В стихах этого цикла, помимо Кузнецовой, прошли вперемежку разнокалиберные тени Веры Марковой, Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Елизаветы Кузьминой-Караваевой, Марины Цветаевой, Татьяны Бек, Галины Чистяковой, Раисы Романовой, Ларисы Васильевой, Беллы Ахмадулиной...

Отношение ее к Ахмадулиной было осложнено недоразумением с пресловутым внешним сходством, но и выбором поэтики — в частности, у Ахмадулиной не замечен след Ходасевича, а Наташа в стихах памяти Ахмадулиной отсылает к стихотворению Ходасевича «Памяти кота Мура». У Ходасевича так:

О, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени!

Аришина пишет:

И забродил инжир на блюде.
И больше ничего не будет.
И мой вот-вот наступит срок,
беспорный, как вина глоток.
Неволью с ней я разделила
инжир, лиловый, как чернила.
И к трезвой памяти приник
её бредовый черновик.

Увы мне, в городской пустыне
я всё ещё трезва поныне,
и всё никчёмней мой досуг.
И пёс не кормится из рук.
И общий градус жизни убыл.
И перстень закатился в угол.
Как охраняют твой покой
сады за огненной рекой?

Кстати говоря, у меня сейчас есть случай расшифровать одно из «тёмных» мест этого стихотворения Наташи («Соглядатай»). Там такой эпиграф и такое начало всей вещи:

...У горбуна есть преимущество сложности
перед человеком с прямым позвоночником.

Белла Ахмадулина. Дневник 1962 г.

Была она чуть-чуть кокеткой.
Живой питон служил горжеткой.
Бродячий пёс кормился с рук.
Был суетлив её досуг.
Следя глазами за удою,
в саду обедала с урою,
за стопкой местного вина
обласкивая горбуна.

Сцена объятия Ахмадулиной с горбуном произошла на наших глазах в Цветном кафе ЦДЛ. Обнимаемым был забубенный Гена Колесников, автор знаменитой песни «Тополя», гуляка, выпивоха, очарованный странник, игрок (бега, бильярд). Замечу попутно, Ахмадулина была природно демократична, ее народнический уклон особенно отпечатался на поздних ее стихотворениях, наполненных сюжетами безоблачного общения со всякой незнатной публикой. В этом смысле Наташа ничем от нее не отличалась. Я всегда поражался ее умению наладить мгновенный контакт со, скажем, сантехником.

Уже после ее ухода я вынужден был пригласить такового. И что? Десять лет назад он был у нас, меня не помнил — он помнил хозяйку нашего гнезда. При ее жизни я всегда суеверно, боясь накликасть беду, одергивал себя, когда мне внезапно вспоминалась пушкинская строка: «Всё в жертву памяти твоей».

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

1825 г.

Ничего этого у меня нет. Кроме памяти о ней.

Александр Марков

Сверхнадёжные рассказчики

Есть чёрные комедии, а есть прозрачные драмы. Три книги в этом обзоре — это прозрачные, горестные и, по-своему каждая, очень теплые драмы. Читая эти три книги — поэзию, прозу и своеобразный нон-фикшн, — я усмотрел новый прием в русской литературе: сверхнадёжного рассказчика. Есть литературоведческий термин *ненадёжный рассказчик*: когда мы не можем утверждать, насколько герой правильно излагает события, не придумал ли что и не стал ли жертвой грез или галлюцинаций, и делаем скидку всегда и на такие возможности.

Прием ненадежного рассказчика возник в период бурного развития различных средств общения: от телефона до переносного фотоаппарата. Образцом такой прозы считается «Поворот винта» (1898) Г.Джеймса. Такой роман показывал, что на одних коллизиях характеров нельзя построить картину современной жизни, потому что характеры могут исказить перспективу происходящего. Нужно сравнивать различные речевые и образные средства воспроизведения характеров — какое из средств надежнее сообщает истину.

В новейшей литературе проблема другая: о вещах мы знаем из множества источников. Любой из нас может с помощью поисковых систем найти и дом в Екатеринбурге, который стал героем поэтической книги Сен-Сенькова, и дом Вагинова в Петербурге, которому посвящен роман Секисова, и железные дороги, по которым ездит Дмитрий Данилов. Всё есть в виде панорам, справок, подробных статей, которых хватит на целую книгу.

Поэтому создать произведение — это создать сверхнадёжного рассказчика, который не просто сообщает истину о произошедшем, но ставит под вопрос прежние литературные формы. Эти формы могли быть очень реалистическими, но *с предметом не мирились*. Предмет стоял как вызов, как проблема — но не как то, внутри чего мы оказываемся и обживаемся. Таков был эффект объективирующего повествования или объективирующей фотографии. Все три автора в этом обзоре возвращают в литературу пронзительную субъективность, так что мир после каждой из трех книг становится немного другим.

Андрей СЕН-СЕНЬКОВ. Каменный зародыш / иллюстр. Л.Собениной; послесл. Р.Комадея. — Екатеринбург; М.: Кабинетный учёный, 2023. — 56 с. (Серия «InВерсия»; вып. 19).

Книги Андрея Сен-Сенькова обладают особой целостностью: это не единство замысла и даже не единство исполнения, а что-то вроде цельности того намерения, которое предшествует исполнению. Мы можем, например, говорить, как, не отрывая дыхания от мысли, скрипач исполнил концертную программу, — но иногда

существеннее та напряженность, охватившая скрипача, с которой он выходит на подмостки, зная, когда побеждает музыка. Если Рене Шар говорил о «молотке без мастера», то Сен-Сенькова хочется назвать скрипачом без скрипки: не в смысле лишения, но умения отказаться от готовой топики. Все читатели Сен-Сенькова знают, как он может, упомянув какой-то топос, сразу без него обойтись, растворив его в свете и звуке, и как он гадает не по знакам, а по совершенно неопределенным формам света и дождя. Например, в недавней книге «Чайковский с каплей Млечного пути» (2021) мы встречаем настоящие триллеры в кратких, по 8-12 строк, стихах, но после нескольких гадательных реплик и озарений, как будто бы Стивен Кинг всё объявляет в мегафон. Топика триллера не так существенна для этого поэта в сравнении с догадками, предшествовавшими и страху, и избавлению от него.

Новая книга Сен-Сенькова — изображение одного из домов в Екатеринбурге; иллюстрированное послесловие Руслана Комадея дает понять, какой это дом. Конструктивистское сооружение, неправильный полукруг, может быть, серп, но по городской легенде — зародыш: не то родильный дом, не то детский сад, не то вообще зачаток правильного будущего. С этим домом Сен-Сеньков говорит только на «ты»:

дыры окон в твоих боках сделаны из
выплаканных глаз

Уже здесь мы видим, как легко Сен-Сеньков материализует метафоры, вставая на сторону строителя: если окно — это око, то оконный проем, о котором думает строитель, — заплаканный глаз. Но Сен-Сеньков не требует размышлять о конфликте природы и цивилизации — тогда бы мы просто оказались на скрипичном концерте, а не рядом со смелым скрипачом за кулисами. У него слишком много материализаций метафор; например, если дом создает строитель, то вселенную строит дождь:

дождь ловит воздух и трёт его
между большим и указательным пальцами

То есть большой дождь, направленный, указывающий; и от этой материальности дождя никуда не уйти, нельзя просто представлять картину дождливого дня или вечера. Этой поэтике отвечают иллюстрации Лёли Собениной, выполненные как оттиски, как тени, лишённые теней, но достаточно густые.

Если материализация метафор позволяет перейти от картинности к пониманию жизни как системы ситуаций, то сама эта система ситуаций регулируется простыми грамматическими средствами — прежде всего, игрой единственного и множественного числа:

ко мне на работу часто приходят мёртвые ты

Казалось бы, обычный оксюморон, но «ты» в этой книге всегда живой, и жизнь единична и уникальна, в единственном числе, а смерть — опасность и вынужденность, *мёртвое* всегда во множественном числе. Чтобы понять смысл живого, смело войти в жизнь, нужно преодолеть смерть во всей ее множественности. Конечно, в этой книге Сен-Сенькова есть немало сновидческого, где жизнь и смерть, единственное и множественное число, смешиваются. Но чаще они разделяются:

если бы у тебя была лучшая подруга
любила бы раздвигать пальцы одной руки
а другой наносить быстрые удары ножом
по твоей стене между пальцами
часто бы промахивалась
часто до крови

в белую рану стены
достаточно и одной
острой крупинки солёного лейкопластыря

Мы привели стихотворение полностью, чтобы показать, что множественное число, «удары», «пальцы» — это смертельная неточность, а единственное число стены и крупинки — точность, достаточность, благо жизни, которая *даже раненая* учит и учится, как себя исцелять. Я и назову эту технику техникой «сверхнадёжного рассказчика», в противоположность «ненадежному рассказчику» — если кто-то понимает, что исцеление могло произойти, что есть соль слова и действия, то тогда и рассказ о бедах оказывается частным случаем общего достоверного рассказа об исцелении. Это исцеление всегда чувственное, всегда пахнет, например, пахнут художественные миры в противовес множественным предметам на холсте, которые слишком пресны, слишком неузнаваемы:

если бы у тебя были глаза кого бы ты любил
дега?
микеланджело?
дельво?

думаю дега

все эти гнутые ножки
белые спинки балерин
ноготки над головой
то чего у тебя нет и не будет

не будет того из-за чего в темноте
все картины пахнут рубенсом

Это и есть эффект сверхнадёжного рассказчика: он может пересказать сюжеты картин, но сразу оговорит, что есть особый запах пастозных красок, особый запах тела, особая соль пота трудящегося художника, всегда по трудолюбию подобного Рубенсу, и что это не менее важно, чем эффекты балета или скрипичного концерта. Сверхнадёжный рассказчик не обязан пояснять всякий раз, как рана была заклеена: просто так устроена система событий, где семь бед — один ответ. На соседней странице читаем:

в солнечную погоду
ты похож на буквы-двойняшки L
в надписи HOLLYWOOD
выложенной на лос-анджелесском холме

затем солнце прячется
и ты снова похож только на самого себя

красивую калифорнийскую свердловчанку

Можно много говорить, что такое мужское и женское, что буква L как бы означает человека, от которого падает тень, и что кинематограф позволяет увидеть себя на экране и как тень, и как подлинную личность. Но все эти интерпретации будут частными в сравнении с тем, как хочется продолжить каждую из строф: «выложенной на лос-анджелесском холме, поэтому...», «и ты снова похож только на самого себя, поэтому...», «красивую калифорнийскую свердловчанку, поэтому...». Нам хочется продолжения, вывода, как дальше развивалось действие, но стихи не пускают нас ни на экран, ни в наш быт.

При этом Сен-Сеньков любит изобретательность, вроде «черно-белое женское белье и кино» как название для магазина — но это изобретение длительности, как раз когда единичные вещи исцелились и на себя похожи и непохожи.

Но вернёмся к конструктивистскому зданию. Кроме игры единственного и множественного числа, а также обращения на «ты», которое позволяет сразу магически материализовать метафору или экранный образ, есть в этой книге Сен-Сенькова третий приём, а именно, катастрофичность неопределённой формы глагола. Там, где появляется неопределённая форма (инфинитив), там сразу начинается повреждение и разрушение:

и чтобы рухнуть внутрь себя
красиво-больно
оловянным солдатиком
сломавшим стоэтажную ножку

соревнования — только в сильный в дождь
синхронно тонуть в грязи
потом всплыть
с улыбающейся раной от пореза стекла

Такой рушащейся реальности и противопоставлен дом-зародыш, позволяющий родиться несколько раз: в роддоме, в детском саду и во взрослой жизни. В этом доме и угадывается всё, что нужно, и нет и не будет уже инфинитивов после того, как загадки разгаданы. Мы обжились в этом доме, рядом с мастером и дождём, и на «ты» можем разговаривать со всеми живыми.

Антон СЕКИСОВ. Комната Вагинова. — М.: Альпина нон-фикшн; Букмейт, 2023. — 256 с.

Новый роман Антона Секисова — Стивен Кинг в антураже петербургской коммуналки, Донна Тартт среди филологических анекдотов Пушкинского дома, Джон Фаулз, не устающий знакомиться с новым Петербургом. В книге есть и строймаркет, и Западный скоростной диаметр, и многие другие нынешние реалии города, без которых сюжет детективного триллера бы не сложился.

Главный герой, филолог-увалень, селится в inferнальной коммуналке, в которой жил Константин Вагинов, чтобы создать книгу о нем в серии «Жизнь замечательных людей». Но комната великого писателя заперта — ряд ложных подсказок опровергается в течение романа, оказывается, что это комната, в которой произошло что-то типа жертвоприношения, и кровь ртутью впиталась в щелистые полы. А где жертвоприношение, там и сменяющие друг друга мрачные жрецы, уткнувшиеся в ноутбук, — но не будем раскрывать секретов романа для любителей закрученного действия.

Как и в прежних книгах Секисова, «Кровь и почва» (2016) и «Бог тревоги» (2021), «маленький человек», попадая в среду уже не мастеров слова, а мастеров своего дела, даже маньяков своего дела, запускает невольно все механизмы русской литературы с ее тягостными коллизиями. Но новый роман стал многомернее: гг. Герои в нем не так разговорчивы, они плакатны и карикатурны — что выверяющий каждый шаг маньяк, что беспечная королева ТикТока. Они вполне могли бы объясняться жестами. А вот сам главный герой меняется по ходу действия: из маменькиного сынка превращается в протагониста античной трагедии.

Сначала при чтении казалось, что главная задача Секисова — опровергнуть концепцию «полифонии» применительно к романам Достоевского, с опорой на романы Вагинова, сделать шаг назад, к тому приравнению романов Достоевского

к античной трагедии, которое отстаивали Вячеслав Иванов, Лев Пумпянский, и в значительной степени Андрей Егунов и другие ближайшие друзья Вагинова. Бахтин, создавая в сложном диалоге с Пумпянским «полифонию», в каком-то смысле выходил за пределы романов Вагинова. Он уже не мог после написания книги «Проблемы творчества Достоевского» быть просто загадочным филологом, патологическим коллекционером научного материала или странным поэтом.

Бахтин, утверждая возможность всезнающего героя, проникающего голосом в душу и будущее другого, делал покаяние конструктивным принципом романов Достоевского. И да, после этого сам Бахтин — как человек покаяния — не мог быть героем романа с ключом (впрочем, А.Ф.Лосев всё-таки поместил его в свой роман с ключом «Женщина-Мыслитель»). Ведь роман с ключом подразумевает строгое отношение типов и прототипов, а значит, невозможность отпущения грехов без того чтобы превратить его в еще один скандал или ритуал среди других трагических ритуалов. Бахтин, освободив Достоевского от структур трагического, освободил себя от своего круга.

Так вот, в романе Секисова никто не кается: ни из совершивших очередное преступление, ни из бездействующих, ни из отвечающих преступлением на преступление. При этом все элементы трагедии присутствуют, как и присутствуют все черты триллера. Как *макгаффин* (сюжетообразующий фетиш в кинематографе) выступает издание «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата из «Литературных памятников» — эту книгу собиралась перевести группа АБДЕМ, но не успела из-за ареста одного из участников. Как именно эта книга в переводе Е.Г.Рабинович (недавно с дополнениями переизданная в серии «Всех Филостратов всё») работает — подсказывать читателю не будем, только заметим, что здесь больше отсылок не к Фаулзу, а к «Библиотекарю» Михаила Елизарова.

Для героев «Козлиной песни» Вагинова книга Филострата была инструкцией по превращению из филологов в чудотворцы. Но на протяжении всего романа выяснялось, что не существует и не может существовать такого современного Филострата, который осуществит эту *трансмутацию*. В этом смысле романы Вагинова — конечно, добахтинская интерпретация Достоевского: трагические герои в отсутствие «бога из машины», а не пересекающие все запретные черты герои полифонического романа.

Но, следя за тугими узлами сюжета и не отрываясь дочитывая до конца, ты вдруг понимаешь, что филологический роман Секисова, в котором читатель Вагинова оказывается среди призраков Вагинова, — вовсе не роман-трагедия. В романе есть несколько страниц курсивом — это *осознанное сновидение* похищенной Нины. И вот оно как раз полностью отвечает стандарту полифонии: например, Нина входит в кирху и понимает, что прихожане обычные, а пастор — необычный. Такое понимание не может случиться в романе-трагедии, где как раз пастор будет обычным, раз он снится в рядовом сне, а не в пророческом — тем более, сама Нина в поисках волшебного средства внутри сновидения в конце концов подчинится поэтике филостратовских магов.

«Пастор пускается в воспоминания: раньше он был продавцом обуви из крокодиловой кожи. А потом у него отняли бизнес, он принял лютеранство и стал настоятелем в этой кирхе. Пастору нравится его работа, и он рад, что благодаря службе в кирхе открыл в себе дар воскресителя. Дар бы не проявился, если б не рейдерский захват бизнеса, если бы он так и продавал с огромным успехом туфли из крокодиловой кожи. Впрочем, пастор и сам понимает, что его рассуждения о способности к воскрешению сейчас выглядят не очень-то убедительно». Увидеть, что пастор понимает самостоятельно, как он *выстраивает границы своей способности суждения*, а не просто проявляет свой ожидаемый характер, — это как раз свойство полифонического романа.

Как ни странно, этот сон, ключ в ключе, меняет всю перспективу новинки Секисова. Крепкий и затягивающий детектив оборачивается расследованием поэтики Вагинова, которая вовсе не так проста, как объясняет ее главный герой Сеня: романы о чудаках, «городских сумасшедших», в том числе коллекционерах сновидений. Это Сеня, а не Секисов, знает только роман-трагедию и ищет биографические тайны Вагинова только в трагическом, пока жизнь не преподает ему уроков сполна на нескольких последних страницах.

Оказывается, что можно понимать и романы Вагинова не как повествования о человеческих драмах и желаниях в рассыпающемся времени конца 1920-х, но как наш большой сон о культуре и ее людях. Тогда следует признать в Вагинове лучшего *структуралиста*, который понял, как именно культура работает, каковы ее ограничения, как она соотносится с памятью и с мечтой. В таком случае мы на миг становимся героями полифонического романа, чтобы потом прочесть и многие другие романы о филологах иными глазами.

Дмитрий ДАНИЛОВ. Пустые поезда 2022 года. — М.: Издательство АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2023. — 192 с., ил. — (Классное чтение).

Книга Дмитрия Данилова посвящена явлению, которое в блогах иногда называют «заповедные железные дороги». Это пути с регулярным, но не интенсивным пассажирским и грузовым сообщением. Такие дороги обычно строились в конце XIX и начале XX века в промышленных целях, как тупиковые ветки к предприятиям: поэтому вокзалы в некоторых из упоминаемых в книге городах, как Углич или Касимов, далеки от туристического центра, оставаясь в промзоне этих малых городов. Некоторые из этих дорог были частью грузовой сети — московские Савёловский и Павелецкий вокзал — это в начальном замысле подвозные грузовые пути. Некоторые были построены сверх сроков в Первую мировую для скорой доставки боеприпасов и лошадей.

Данилов использует прием, известный всем, кто смотрел или читал его пьесу «Человек из Подольска»: то, что социолог Ирвинг Гофман назвал бы сменой фрейма. В Подольске все ведут себя по правилам обычного подмосковного города, но достаточно герою представить Подольск как Амстердам, как фрейм меняется, а вместе с ним меняются и привычки. Например, в напряженный диалог входит учтивый *small talk*, речь оказывается более вопрошающей, чем отвечающей, и недоумения приобретают благодаря этому экзистенциальный размах. Данилов — один из немногих настоящих экзистенциалистов в русской литературе. Но он исходит не из подхваченных где-то идей, а из произошедшего рефрейминга: сначала появилось робкое недоумение, вежливость, легкая тоска в нотах речи, рембрандтовская учтивость — а уже после открылись бездны существования.

В книге есть общий сюжет: смерть матери повествователя в ковидном госпитале, попытки дозвониться из вагона до больничного поста и воспоминания о матери в дальнейших поездках. Собственно, это история о том, как мама несколько раз спасла в жизни, — и поэтому книгу можно было бы назвать благодарной речью не раз спасенного. Путешествие героя в поездах-кукушках по тупиковым дорогам — это выстраивание жизни спасенного человека, которому нужны после того, как тонул или падал, и душевный труд, и душевный отдых. Как спасшийся в древней Греции от кораблекрушения приносил Посейдону дар в коллекцию храма, так и повествователь книги приносит такой дар: картину беспечности, пребывания в мире спасения с теплыми лавками и гулками пейзажами за окном.

Действия с самим повествователем в книге немного: один раз он забывает паспорт дома и вынужден проделать огромную часть пути на такси. Другой раз

он не может найти свободную машину от центра города до станции — приходится из-за этой мелочи менять маршрут поездки. На такси герой, чтобы не опоздать к следующему поезду, передвигается по городам, в магазин за виски или посмотреть на общее состояние улиц и площадей. Такси — это и новое лоно Авраамово, и помощь жены, выручающей путешественника, — почти что прикосновение Софии-Премудрости, как ее видел Флоренский.

События оказываются частью случившегося, частью обмена разговорами, и повествователь, сидящий («сел» — самый частый глагол в книге) вне этого обмена, уже ясно всё увидел. «Вагон был заполнен где-то наполовину, сел у окна по ходу движения. Среди пассажиров выделялась группа громко разговаривающих молодых людей (старшеклассники или студенты начальных курсов) и мама с тремя детьми начальнo-школьного возраста. И та и другая группы производили шум». Много что происходит, у всех свои заботы, но герой *устроился* у окна, как-то особенно светел, этим светом Премудрости, *устраивающей* свой дом.

Заповедные дороги меняются: на смену плацкартным кукушкам приходят рельсовые автобусы, в которых еще теплее, еще светлее, еще тише. Рай Дмитрия Данилова в этой книге совсем лишен ностальгии по скрипучему, деревянному, линкрустовому, пахнущему масляной краской. Все эти тактильные радости оставлены в области прежних спасений, детства рядом с мамой. В новый век вступаешь в том спокойствии, где разговоры могут быть малыми и тихими, где фрейм меняется еще незаметнее, а рассказы бьют через край.

Что исчезает при чтении любой книги Дмитрия Данилова — ощущение ненужности, какое бывает, когда читаешь какой-нибудь амбициозный роман, в котором автор поспешно сводит концы с концами, только чтобы вырулить финал и не сделать героев слишком уж ненужными даже самим себе за время действия. Прочитав Данилова, ты понимаешь, насколько ты сам нужен, как оказались нужны железные дороги, поезда, встречи, друзья, родные.

Александр Чанцев

Пространство для Бытия

Предлагаемая публикация продолжает серию предыдущих выпусков рубрики — посвященной, в очень широком и вольном плане, тому, что я формулирую как альтернативные подходы к духовному поиску, оригинальным представлениям о религиозном. Впрочем, представленные здесь книги могут, на первый взгляд, навести на мысль как раз не об оригинальной, но известной, мейнстримной мысли. Современный немецкий гуру и сербский ученый¹ говорят, кажется, об очень известных вещах. Да и говорят еще и простым достаточно языком. Стоит ли к ним прислушаться? Да. Потому что зачастую за простыми и новыми словами прячется старая истина. Вот, скажем, и убежденный марксист Эвальд Ильенков в своем философствовании доходит как минимум до весьма консервативной критики современности, а максимум — до религиозных прозрений. Которые, он, конечно же, не признаёт. Но можем внимательно рассмотреть мы — тем более что разговор весьма актуален, в свете недавней пандемии и прочих бедствий нашей цивилизации, воспринимается очень иначе...

Экхарт ТОЛЛЕ. Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели / Пер. с англ. Г.Тимошиновой, под ред. И.Мелдрис. — М.: Рипол классик, 2023. 368 с.

Вряд ли есть, признаюсь, что-нибудь более пресное и безвкусное, чем очередное учение New Age, являющееся в лучшем случае поп-дайджестом традиционных религий. Здесь то же самое. То, да не то.

Экхарт (он сменил имя в честь Майстера Экхарта²) Толле родился в Германии. Детство и начальная школа оставили ужасные воспоминания — в итоге Толле выбрал самостоятельное обучение на дому. Преподавал языки, обучался в Лондонском университете и Кембридже. Пока, в состоянии суицидальной депрессии, не пережил то, что и большая часть мистиков: тёмную ночь души имени Иоанна Креста. Пророки переживают подобные озарения в пустынях, Толле же оно наступило в Лондоне. С тех пор он полюбил парки и леса (привет всем Уходам в Лес — от Генри Дэвида Торо до Эрнста Юнгера!), а потом и вовсе уехал из мегаполиса в глушь, где пестовал и развивал свои духовные находки. Историю создания своей первой и главной вероучительной книги он описывает как своеобразную авантюру: отправился в Ванкувер, тратил последние накопления, не зная, что его ждет в будущем, а когда стало уже совсем голодно, выиграл в лотерею тысячу долларов. И его книга «Сила настоящего» (The Power of Now) — она переведена на русский — «сыграла», вообще сорвала банк. Способствовала новая медийность — книгой Толле увлеклась Опра Уинфри и много помогла ему приглашением на свою передачу, а затем Толле активно освоил интернет-эфир (Eckhart Tolle TV). Результат — и какое-то рекордное пребывание в списке бестселлеров по версии The New York Times, и впечатляющее количество переводов, и плотные ряды поклонников. Экхарта Толле можно без особых преувеличений назвать мировой звездой в категории духовных учителей.

Все, что я сказал выше, может опять же отвратить даже не самого рафинированного и снобистски настроенного читателя. Но вот есть в Толле что-то — хотя и этой фразой про фактически духовного учителя тоже легко изрядно подставиться, — что действительно привлекает к нему, характеризует очень и очень хорошо. Говоря о вышедшей второй его главной книге, я постараюсь не столько разделить, сколько понять истоки этого энтузиазма.

Во-первых, в его книгах нет ни грана суровой соли ригоризма гуру и патоки блаженного обращенного. Во-вторых, с посылками его работ трудно не согласиться (с практическими наставлениями, где речь идет о методах работы с так называемым телом боли, то есть багажом наших мучительных воспоминаний-переживаний-мыслей, и прочем разным, каждый уж решит сам для себя).

Как сказано в предисловии к русскому изданию, книга Толле «готовит нас к эволюционному скачку на совершенно новый уровень осознанности, где мы сможем выйти за пределы ума, чтобы жить не потом, не вчера, а сейчас, и выучимся чувствовать то священное пространство, где все мы соединены друг с другом и сообща творим свою реальность». Необходимость этой новой реальности — Новой земли, в терминах Священного Писания и Толле — не видит, допущу жесткий посыл уже я, кажется, сейчас только слепой. Хотя не скептицизм (он вообще избегает оценок и наставлений, лишь говорит только о своём пути, который может стать и путем других), но вопрос самого Толле — «готово ли человечество к трансформации сознания — внутреннему цветению столь радикальному и глубокому, что рядом с ним цветение растений, как бы прекрасно оно ни было, покажется лишь бледным отражением?» — зависит в воздухе, остается в протоколе очередного собрания на чумном пиру... В немногих, но сильных ремарках Толле ставит человечеству неутешительный диагноз, выносит нелицеприятный приговор. «Человеческий ум несомненно обладает большой силой. Однако сила эта заражена безумием. Наука и техника усугубили разрушительное влияние дисфункции человеческого ума на планету, другие формы жизни и самих себя»³. Почему он и говорит об исправлении сознания одного человека — потому что уравнивает его с коллективным, мировым разумом: «Если бы история человечества была историей болезни какого-то отдельного человека, ему бы пришлось поставить следующий диагноз: хронический параноидальный бред и патологическая склонность к убийствам и актам запредельного насилия и крайней жестокости в отношении кажущихся “врагов” — проекцией его собственной неосознанности во внешний мир». Чтобы убедиться в его правоте, достаточно пролистать учебник истории прошлого столетия, открыть новостную ленту. Толле был прав и на более конкретном уровне, если просто учесть, что его книга вышла в 2005 году, еще до пандемии коронавируса и прочих кризисов, скорость смены которых очередными, как говорят бизнесмены, политики и коучи, «вызовами» может даже увлечь: «Столкнувшись с радикальным кризисом, когда старый способ существования и взаимодействия друг с другом и миром дает сбой, когда нашему выживанию угрожают непреодолимые на первый взгляд проблемы, индивидуальная форма жизни — вид — погибнет или вымрет, либо совершит эволюционный скачок и поднимется над присущими ее состоянию ограничениями».

Какой же минимальный разбег нужен для этого скачка? Прежде, главное всего и спасительнее — вырваться из пут своего «я» (здесь как раз более чем уместно написание в кавычках, а не с заглавной буквы!): «Осознайте, что такое эго: это коллективная дисфункция, безумие человеческого разума. Осознав его природу, вы перестанете усматривать в нем чью-то личностную сущность. Как только вы поймете, что такое эго, вам станет куда легче на него реагировать. Вы перестанете считать его чем-то личным. Прекратятся жалобы, обвинения, негодования и поиск виноватых. Никто ни в чем не виноват. Это просто чье-то эго, вот и все. Когда вы осознаете, что все люди страдают одной и той же болезнью ума — просто у одних она протекает тяжелее, чем у других, — к вам придет сострадание». Выйти же из собственного эго, осознать, что оно отнюдь не есть ваша истинная сущность и дух, не так уж и сложно.

Если очень «своими словами» — практические советы я пересказывать не буду, за этим в книгу, — то в момент гармонии, внутренней тишины и покоя очень естественно осознать, что весь этот «белый шум» мыслей, волнений, обид и суеты разума не очень имеет к вам отношение, это наносное, атака того враждебного, что лишь мимикрирует под наше истинное «я». Тишина, как известно, это язык Бога, тот язык, с помощью которого можно найти и себя в самом себе, и гармонию, божественное в окружающем.

Это — Толле называет это осознанностью — глобальный путь. Есть и практические импликации, вытекающие из этой фундаментальной посылки. Мир — в тишине и сейчас, в непосредственном моменте обретенной гармонии. «Когда вы смотрите на своего ребёнка, слушаете его, прикасаетесь к нему или помогаете ему что-то делать, вы предельно внимательны и спокойны, полностью присутствуете в происходящем и не хотите ничего, кроме настоящего момента — такого, какой он есть. Тем самым вы создаете пространство для Бытия». «Когда вы не играете роли, в том, что вы делаете, нет “я” (эго). Нет скрытой цели защитить или усилить это “я”. В результате ваши действия обладают куда большей силой. Вы полностью сфокусированы на ситуации. Вы становитесь с ней одним целым. Вы не пытаетесь кем-то быть». И тем самым вы являетесь самим собой, максимальным собой. «Несопротивление, несуждение и непривязанность — вот три аспекта истинной свободы и просветленной жизни».

И здесь, в последних фразах, уже прозвучало несколько, так сказать, ключевых слов, реперных точек, вокруг которых нам нужно сделать круг в нашем бальном танце восприятия, исполнить суфийскую кружащуюся медитацию. Можно сказать, что перед нами очередной новый экуменизм, поп-религия весьма в духе Ричарда Баха, звезды все той же категории своеобразных духовных учителей прошлых десятилетий. И точно, сходство тут большое. Свободе и осознанности, присутствию⁴ в настоящем Толле учит, как Бах — устами Джонатана Ливингстона. Призывает и к единению с Единым, как в одноименной книге Баха. Да и сам Толле становится, не очень, думаю, запланированно (хотя — уже юное переименование себя в Экхарта...) и по началу отрефлексированно, учителем, «мессией поневоле» (так, про соседку, что-то осознавшую после довольно лапидарной — он слушал и задавал вопросы — беседы с автором он замечает: «Она считала, что я с ней что-то сделал. Но я ничего не делал. Вместо того, чтобы спрашивать, что я сделал, ей стоило бы спросить, что я не сделал»).

Как и у Баха, за всем этим, конечно же, вырисовываются, явственно ощущаются фундаментальные послы мировых религий. Христианства и, немного реже, буддизма (еще реже — индуизма и ислама). Собственно, Толле это никак и не скрывает. Множество своих мыслей, посылов он завершает цитатой из Библии или иллюстрацией из жизни и вероучения Будды. Послы Толле действительно часто резюмируются высказываниями из Евангелия — или даже начинаются с них:

«Блаженны нищие духом» — говорил Иисус, «ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищие духом»? Это когда нет внутреннего багажа, нет отождествлений. Ни с вещами, ни с любыми умственными концепциями, в которых есть ощущение себя. А что такое «Царство Небесное»? Это простая, но глубокая радость Бытия, которая ощущается, когда вы перестаете жить отождествлениями и становитесь «нищим духом».

А вот так Толле трактует «прощайте врагам своим»: «...По сути эти слова направлены на разрушение одной из главных эгоистических структур ума».

Или же он может объединить христианство и буддизм — то есть, скорее, пойти к самым фундаментальным, примордиальным основам религий:

Духовное осознание — это когда вы ясно видите: то, что я воспринимаю, переживаю, думаю или чувствую, в конечном итоге не есть я — я не могу найти себя в вещах, которые без конца от нас уходят. Похоже, Будда был первым, кто увидел это со всей ясностью, поэтому анатта (отсутствие «я») стала одним из центральных

пунктов его учения. И когда Иисус сказал «отвергнись себя», он имел в виду: отвергни (и тем самым разрушь) иллюзию своего «я». Если бы «я» — эго — действительно было тем, кто я есть, то «отречься» от него было бы абсурдно.

На этапе этих — и многих подобных — пассажей обоснованно может возникнуть вопрос, нужно ли вообще это истолкование давно известных истин, не есть ли всё это такой очевидный извод, поп-христианство и поп-буддизм? Частое же повторение мысли о необходимости отречься от себя и жить осознанно-гармонично и вовсе может заставить вспомнить известную книгу-пособие Аллена Карра «Лёгкий способ курить», где все сотни страниц сводятся по сути к повторению одной и той же мысли-мантры-внушения: вы не испытываете удовольствия от курения, затянувшись, вы лишь «снимаете ломку» без курения, осознав же это, тут же выбросите пачку. У Толле тоже речь именно о перемене восприятия, метаноии: «Вы можете сказать: “Какой ужасный день”, — не сознавая, что холод, ветер и дождь или любые другие условия, на которые вы реагируете, вовсе не ужасны. Они такие, какие есть. Ужасны ваша реакция, ваше внутреннее сопротивление и вызываемая им эмоция». И опять же — мысли все хорошие, а если их и симпатично подать... Но, как показывает популярность Толле, это точно кому-то нужно, многими востребовано. И зачем бросать камень в того, кто говорит правильные вещи, и, повторю, делает это действительно смиренно, точно умалив свое «я»?

Тем более что добавляются к общеизвестному (но — отнюдь не всеми, очень далеко не всеми воспринятому) и любопытные суждения уже — почти — собственного авторства. «Зло — это полное отождествление с формой — с физическими формами, мыслеформами, эмоциональными формами. Такое отождествление ведет к полному отсутствию осознания моей связи с целым, моего внутреннего единства с “другими” и с Источником» / «Как это ни парадоксально, общество потребления потому и существует, что найти себя через вещи невозможно. Удовлетворения, которое испытывает эго, хватает ненадолго, и поэтому вы все время ищите что-то еще» / Когда вы назвали, поименовали какое-то явление, навесили на него бирку термина и классификации, «вы лишь прикрыли тайну ярлыком. Всё — птица, дерево, даже обычный камень и уж тем более человек — по сути своей непознаваемо, поскольку обладает непостижимой глубиной».

Почти собственного авторства — потому что не только в общем посыле (все религии призывают к миру, любви, милосердию — а к чему им еще призывать?), но и в частных идеях Толле можно услышать отзвуки иных мыслителей, озабоченных той же проблематикой или, как сейчас говорят, повесткой (выражение тоже имеет смысл — ибо те же экологические в широком смысле слова проблемы точно требуют, взывают к незамедлительному и кардинальному вмешательству). Так, эго — небольшие, это явно не магистральная идея Толле — историософские пассажи вроде «у некоторых наций, например, на Ближнем Востоке, коллективное болевое тело так воспалено, что значительная часть населения вынуждена воплощать его в бесконечном и безумном цикле преступлений и возмездий, с помощью которого болевое тело постоянно себя обновляет» могут напомнить отдельные идеи Шпенглера или Даниила Андреева (уицраоры наций). «Женская форма не заключена в такой же жесткий панцирь, как мужская, она более открыта и восприимчива к другим формам жизни, более созвучна природному миру» и подобные (опять же не превалирующие в его учении) высказывания Толле отсылают нас к идее о «феминистической» цивилизации Геи Теренса Маккены, о которых мы уже говорили в одном из недавних выпусков этой рубрики⁵. А следующая интерпретация трактовки Сартром самого известного высказывания Декарта *cogito ergo sum* — «Если бы в вас не было ничего, кроме мыслей, вы бы даже не знали, что думаете. Вы были бы подобны человеку, который видит сон, не зная, что это сон. Вы бы отождествлялись с каждой мыслью — как сновидец⁶, отождествляющийся с каждым снявшимся ему образом» — не оставили

бы равнодушным Виктора Пелевина, нашего главного адепта и популяризатора буддизма.

Как, кстати, и Пелевин, Толле берёт чем-то. Не новым словом о месте, роли и путях спасения человека, конечно же, но — подачей своих идей, что ли. Смиранный, крайне терпимый и действительно светлый учитель, он своей фигурой и просто манерой подачи мыслей являет пример того, что да, из дьявольской ловушки современной цивилизации можно и выпрыгнуть. Во всяком случае, попытаться (стоит).

Предраг ЧИЧОВАЧКИ. Смысл жизни: коротко о главном / Пер. с англ. Е.Лобковой. — М.; СПб.; Центр гуманитарных инициатив, 2022. 142 с.

Предраг Чичовачки уже после получения степени бакалавра по философии в Белградском университете перебрался в Америку, где продолжил образование, а с 1991 года преподаёт философию в Массачусетсе, профессорствуя в Колледже Святого Креста. И его работа отчасти соединяет в себе различные страновые парадигмы: вроде бы речь про западную философию, а через страницу почти автор обращается к Достоевскому. Впрочем, все шире, разнообразнее и интереснее — в главе «Те, кто меня вдохновляют» речь об Альберте Швейцере и Антони Гауди, в других же рассуждениях Чичовачки опирается на Канта (его специализация), Шопенгауэра, Гартмана, Элиаде. И, надо заметить, вдохновляют его не только идеи этих людей, но и то, как те собственной жизнью воплощали, проживали и осуществляли свои взгляды. Так, кроме разных оригинальных выкладок Гартмана, он фиксирует, как тот писал свой главный труд в Берлине (университет, где последний преподавал, был полностью разрушен), в 1945 году, голодая, под непрекращающимися бомбардировками: «В этом аду Гартман написал книгу, в которой ни разу не упомянул войну и разрушения, сосредоточившись на красоте и величии, творчестве и смысле жизни. Этот пятисотстраничный шедевр, написанный в таких ужасающих обстоятельствах, в то время, когда разрушение жизни приняло ошеломляющие масштабы, — ода искусству и творчеству. Как Гартману это удалось? Был ли он монстром или сверхчеловеком?»

Центрируясь на подобных вопросах — жизни, ее притяжения, работы с ней и благодарности всему сущему, Чичовачки сам пишет весьма свободно, как сейчас бы сказали, междисциплинарно. Книга его — что-то вобравшее, взявшее свое от философского трактата, нравственного манифеста или развернутого эссе в духе «Ухода в Лес» или, скорее, «Мира» Юнгера.

И, при всех жанровых все же несовпадениях с книгой Толле, у них оказывается поразительно много чуть ли не текстуальных совпадений! Не подчеркивая очевидное — что если два столь разных человека пишут, призывают к схожему, значит, необходимость в ветре перемен более чем насущна, ощущается чуткими мира сего (отметим эти сходства, благо они — так же отчасти дискретно, как и построена книга — скажут что-то и о глобальном послысе «Смысла жизни»).

Чичовачки — при, точно в западном духе, недеklarировании собственных религиозных взглядов и полном отсутствии прозелитских, пастырских интенций — говорит о глубоко религиозных в своем анамнезе вещах⁷. О — здесь бы и Симона Вейль охотно подписалась — тотальной благодарности миру. «...Благодарность направлена в будущее не меньше, чем в прошлое. Будучи подобной горбату мосту, который посередине слегка приподнят, она позволяет посмотреть на реальность сверху. Если при взгляде с такой точки мы начинаем понимать и принимать большинство, казалось бы, несопоставимых аспектов реальности, то, стало быть, благодарность помогает нам стать добросердечными и уравновешенными. Хотя Мэн-цзы и Платон не называли благодарность своим именем, я уверен, что эта идея лежит в основе их представления об осмысленной жизни и многое в нем проясняет».

Отправной точкой, надо заметить, и у Толле, и у Чичовачки стал глубокий кризис, депрессия. Первая строка книги: «В жизни каждого человека наступает момент, когда кажется, что больше нет сил жить» (от себя, в духе констатации полной очевидности, замечу — почему все же к просветлению приводят крайние, лиминальные состояния, ведь из среднего статуса больше хочется, требуется даже выйти?). В кризисе, пагубном состоянии находится и весь мир (да, скорее мир — депрессия человека является следствием оного). «С возрастом мы узнаём, что социальная адаптация и успех не имеют ничего общего с осмысленной жизнью. Но. Ожесточаясь, становясь неестественными, бессердечными, даже откровенно жестокими в погоне за признаваемыми обществом достижениями, готовим детей вести себя то как хорошо запрограммированные роботы (на работе), то как законченные эгоисты (в свободное время). <...> Наши бабушки и дедушки, а порой и наши родители, росли под лозунгом “работай и экономь”. Наш сегодняшний менталитет сформирован другим лозунгом — “работай и трать”. Он настолько доминирует в обществе, ориентированном на прибыль и потребление, что нельзя не задаться вопросом, совместим ли такой образ жизни с осмысленной жизнью. Бремя рабочих обязанностей и общественной жизни изматывает нас. Измученные стрессом, мы можем развлечь себя на время, но нигде не находим смысла. Мы ведем себя так, как если бы любую ценность можно было выразить в терминах рынка: мы знаем цену вещей, но не их ценность». Высказывая инвективы отдельным институциям и обыкновениям (пост)постмодерного общества, автор «Смысла жизни» заключает их вопросом в никуда: «Как можно жить осмысленной жизнью, когда мы не доверяем своим институтам, когда вся система дышит на ладан, как на уровне отдельной личности, так и общества в целом?» Построенная же современным человечеством система действительно — даже не говорю тут, «с точки зрения автора», ибо с точки зрения очевидности, просто разумного взгляда задумавшегося, чуть выскочившего из суеты человека — трещит уж точно по всем швам. От более или менее частного — «Высшие учебные заведения (где автор провел большую часть жизни, уж знает, о чем говорит. — А.Ч.) больше озабочены финансированием, чем качеством преподавания и содержанием учебной программы»⁸ / «Технологии»⁹, все больше подчиняющие себе нашу жизнь, углубляют разрыв, создаваемый противоречием между принципом заслуг и удачей». До общего, глобального — «...устный и письменный язык — лишь одно из многих средств общения и, возможно, не лучшее» (к тому, что мы сейчас говорим об общих местах с Толле, вернет это сомнение в самом, казалось бы, конвенциональном средстве коммуникации¹⁰).

Можно, конечно, сказать, что общие места у двух непохожих мыслителей — просто общие места, common sense под оригинальным соусом. Возможно, пусть так. И не без основания считающий так читатель может обратиться к тем местам-мыслям Чичовачки, что уже скорее несут копирайт его оригинальной мысли, вроде «вдохновение требует пересекать границы и нарушать существующий порядок вещей. Одно это не бунт ради бунта» или же трактовки взглядов Рабиндраната Тагора на цель путешествий на Востоке и Западе.

Что же, по автору «Смысла жизни», нужно для его возвращения, вновь обретения, для (название главы) «смысла против бессмысленности»? Нужно многое поменять. Как сделали это те личности, кто являются для Чичовачки примерами — «подобно тому, как не следует разделять разговоры о морали и практику добродетельной жизни, не следует обсуждать смысл жизни, не пытаясь жить как можно более осмысленно. Иначе зачем вести речь о смысле жизни?» В этом векторе развития и становления следует прежде всего признать, что «я» — не высшая реальность и не главная наша забота. Поиск смысла должен быть ориентирован на что-то большее, чем одна индивидуальная жизнь, и нужно различать, к чему стоит стремиться, а к чему нет». Отринув убогое эго, можно приобщиться к гораздо более величественному: «Пользуясь поэтической формулировкой Джозефа Кэмпбелла, цель жизни — заставить наше сердцебиение совпадать с ритмом Вселенной, чтобы наша природа соответствовала

Природе с большой буквы». Для этого нужно овладеть тем понятием, что уже звучало выше — как и у Толле, так сейчас и у Чичовачки: «Откажемся от грубой, утилитарной манипуляции, позволим миру быть тем, что он есть, и примем его таким. Для этого нужно воссоединиться с миром, повысив уровень осознанности¹¹ и присутствия, помня о том, где и когда мы находимся, ничего не ожидая и не питая предубеждений в отношении того, что ждет нас впереди. Заглянем под поверхность фактов, ощутим вибрации вещей и постигнем более глубокие изменения реальности. Помимо поверхностных качеств, у всех вещей есть некие внутренние черты».

Вывод? Крайне прост и многотруден одновременно. Жить со смыслом, жить — в смысле. «Сколь бы ни были эфемерны наши жизни в этой огромной Вселенной, если жить, вдохновляясь великими людьми и высшими ценностями, не придется беспокоиться о том, есть ли хоть какой-то смысл в нашем существовании. Не нужно будет спрашивать, зачем мы здесь. Когда мы становимся посредниками между идеальным и реальным мирами, смысл жизни попросту вливается в нас через творческое преобразование нашей жизни и мира вокруг». Аминь!

Эвальд ИЛЬЕНКОВ. Космология духа. Избранные произведения о культуре, разуме и будущем Человека. — М.: Новые перспективы, 2023. 256 с.

Книги Эвальда Ильенкова в последние годы часто можно видеть в книжных — не на пришедшей ли с Запада моде юных леваков на ортодоксальную марксистскую мысль? Данное издание — сборник статей, рассыпанных по журнальным публикациям, коллективным сборникам (оценим попутно и название одного из них — «Наука и нравственность»).

Да, Ильенков — убежденный, как говорится, до кончиков ногтей, материалист и марксист. «Чем больше человек отдает богу, тем меньше он оставляет себе» / «Потому что именно Карл Маркс — человек развитый в отношении нравственности и чуткий к доводам нравственного сознания масс — увидел подлинную научную проблему там, где филистеры ученые видели только повод для построения формально-непротиворечивых схем понятий» и прочие пассажи разной степени страстности в духе того, что вне марксистско-ленинской парадигмы нет решения кардинальных социальных и мировоззренческих проблем будет еще много.

И между тем мы будем говорить об Ильенкове в нашей рубрике, посвященной, прежде всего, рефлексии над альтернативно-религиозным? Будем.

Во-первых, даже формальные основания для того вполне есть. Так, Ильенков едва ли не в большей степени, чем он опирается на Маркса, Энгельса и Ленина, цитирует, как Чичовачки, Канта и Гегеля, «этого бога теоретика, интеллигента, не верующего в наивные мифы религий, но верующего в силу понятий, в творческую мощь идеи, то есть логической схемы развивающейся науки». А как раз ко вполне материалистической, казалось бы, философии у него имеется на проверку множество претензий — например, Ильенков громит, объявляет настоящий крестовый поход против позитивизма. Да, позитивизм, считает мыслитель, просто сильно уступает пришедшей на его смену материалистической философии. Но тут, скажем, можно вспомнить, что одним из главных врагов позитивизма в прошлом веке в нашей стране был Пётр Успенский (см. его «*Tertium Organum*», работу, посвященную новому, космическому способу познания будущего — откровению, достигаемому с помощью интуиции¹²).

Во-вторых, Ильенкову, хотя он и не всегда готов в этом признаться, весьма несимпатично мировое настоящее. Да, надо ли говорить, что будущее он видит в марксистском варианте развития. Но уже сама антипатия к (чаще всего именно материалистическому, прагматическому) настоящему зачастую ведет не только к ностальгии и рессентиментному спектру эмоций, но и выводит на чаяния о более

радикальной перестройке мироздания. И у Ильенкова они безусловно есть. Как и порождающий его тот самый «социальный пессимизм», о котором он пишет в «Заметке о Вагнере» в связи с последним (с. 160). А то, как Ильенков в этой же статье описывает обывателей — «эстетически он рисуется очень непривлекательным, грязным, тупым...» — заставляет вспомнить уже пассажи о последнем человеке в «Так говорил Заратустра» Ницше, к которому от Вагнера, понятно, даже не шаг, а полшажка, и которого, Маркс упаси, Ильенков уж никак не цитирует и не поминает). Цитирует, он, разумеется, Маркса — в том ключе, что Б.Шоу «говорил, что Вагнер в качестве художника доказал человечеству то же самое, что Маркс в качестве теоретика, а именно ни больше ни меньше чем закономерность крушения цивилизации, основанной на власти золота, на базе товарно-денежных отношений» — но да ладно, подмигиваем и киваем, мы поняли. Ведь марксизм был за пересмотр товарно-денежных отношений в ближайшей исторической перспективе, а тут у Ильенкова, представляется, уже совсем про отмену оных и переход на что-то капитально новое, разве нет?..

Даже инвективы Ильенкова и двенадцать ножей в спину капитализма — и те на поверку не совсем, как мы уже заметили, и соотносятся с традиционной, принятой в то время в нашей стране, риторикой (и в этом, порадуемся, возможно, еще одна причина возрождающейся популярности Ильенкова сейчас). «Капитализм — это и есть производство ради производства, и есть грандиозная машина, превратившаяся в самоцель, а человека превратившая в средство, в сырье производства и воспроизводства своего ненасытного механизма» — не предполагается ли здесь глубоко (или даже не очень) имплицитно, что у человека может быть и другая, более возвышенная, спиритуалистическая цель?

(И таких потенциальных оговорок, умолчаний, эллипсисов и лакун, которые так легко было бы заполнить и наделить животворящим и все, кстати, легко объясняющим смыслом веры, у Ильенкова еще много. Например, у самого философа вызывает сомнение несовершенство определения мышления: «Что “мышление” — это “функция естественной нервной сети” без указаний, в чем именно заключается специальная характеристика этой частной функции нервной системы, в отличие, скажем, от зубной боли» — про богодухновенность, конечно, критику и смех бы вызвало, но ведь и Ильенков говорит о том, что нынешняя формула не работает, there must be something out there, должно быть что-то еще там, вовне, в трансцендентном, неопишываемое... Или: «Гипотеза, исходя из учета места и роли, которую мыслящий дух необходимо играет в системе всеобщего взаимодействия мировой материи, из учета объективных и помимо воли и сознания складывающихся в мироздании обстоятельств, проясняет ту самую “высшую” и “конечную” цель существования мыслящего духа в системе мироздания, на которой всегда спекулировали все и всяческие религии. Эта “конечная цель” сама понимается как с необходимостью достигаемое сознание, отражение места мыслящего духа в системе объективных условий, полагаемых развитием мировой материи. И эта — объективно выведенная — “цель” бесконечно грандиознее и величественнее, чем все те жалкие фантазии, которые выдумала религия и связанные с ней философские системы» — кажется, весь предыдущий эмоциональный пассаж как раз о том, что эти самые фантазии не жалкие, а единственно толком работающие...)

Капитализм капитализмом, можно сказать, что это разложение все того же Запада¹³, а у нас-то все хорошо? А вот и нет, как оказывается. Стоит заглянуть в — очень любопытную и в целом, и в частности — и весьма нашумевшую и дискутировавшуюся статью Ильенкова «Машина и человек, кибернетика и философия», как узнаешь, что, например, с системой образования у нас не все гладко: «...И профессиональный кретинизм, принимающий себя за высшую добродетель, это очень серьезная и заразная болезнь. С этой болезнью и связана склонность к мифологии в плане социального мышления <...> Не случайно и то, что именно в среде неумеренных, отчаянных кибернетиков то и дело раздаются призывы к повороту средней школы на путь углубления узкого профессионализма, на путь фуркации...»¹⁴ «Есть перегибы на местах» и более фундаментального свойства.

В этой статье, посвященной чрезвычайной, преувеличенной вере в кибернетику как панацею от всего, Ильенков даже вынужден оправдываться — «а что я реакционер, так это неправда. Честное слово, неправда. Но некоторые современные вещи мне очень не нравятся, и прав я или нет — рассудите сами». Очень может быть, что и прав, сказал бы я. Так, Ильенков оказывается настоящим провидцем в своих частных импликациях: он буквально предсказывает дискуссии наших дней о восстании машин (у него и рисуется сцена, где эти самые машины давно основали собственную цивилизацию, борются, как те же коммунисты с религией, с верой в когда-то создавшего их де человека), будто прямо вклинивается в нынешние разговоры об искусственном интеллекте («Вселить искусственной ум, хотя бы равноценный человеческому... <...> И эта система должна преследовать свои собственные цели, независимые от целей человека и человечества»¹⁵). Таким образом, легче (приятнее ли, другой вопрос) признать правоту Ильенкова в том, где он выступает против преувеличенной, гипертрофированной веры в примат науки («та же самая тенденция к фетишизации техники, аппаратуры, химии и прочих подсобных средств и к забвению главного — человека»), говорит о пагубности подобного подхода в целом («ясно, что когда все остальные явления человеческой культуры укладываются в прокрустово ложе описанного “идеала”, то все они оказываются сплошь “несовременными”, “не соответствующими требованиям современной науки”»), предупреждает кассандрой о его последствиях («за прогресс приходится платить самой дорогой платой во вселенной — человеческой жизнью, человеческой кровью, человеческим здоровьем, человеческим счастьем»). Последняя цитата — уже из другой статьи, «Почему мне это не нравится», и, вспомнив вал техногенных катастроф последних десятилетий, ковид, «гонку вооружений» и их применение, признаем еще одно сбывшееся буквально пророчество.

В чем же решение и спасение? Ответ стандартен. И даже немного скучен, ибо он — из лекал, уже из общей повестки: «Итак, первое решение: надо онаучить гуманизм. Второе: надо гуманизировать науку, нацеливать ее на гуманистически благородные цели».

Интереснее настоящие видения Ильенкова, его — научные, разумеется — шаги мыслью в далекое будущее Земли, то есть во времена ее потенциального конца. Здесь — величественные картины в духе романов Лю Цысиня, мировой сверхновой звезды научной фантастики из социалистического Китая наших дней. Ильенков верит, что с помощью научного прогресса (в будущем, видимо, наука все же будет развиваться правильно, убежден он) человечеству удастся справиться с чреватой неминуемой смертью всего живого понижением земной температуры вследствие постепенного охлаждения и затухания Солнца. Сложнее с «тем состоянием раскаленного пара, к которому в ходе круговорота неизбежно приходит любая космическая система, этим абсолютным пределом». Не исключено, рассуждает Ильенков, что возможно будет как-то преодолеть и его.

Здесь хочется перебить и дать слово Хайдеггеру: «Смертельным является не пресловутая атомная бомба как особый <вид> уничтожения. То, что уже давно угрожало новоевропейскому человеку смертью, а именно смертью его существа, есть абсолютность воления в смысле самоосуществления»¹⁶.

Будто услышав возражение, Ильенков переходит к таким визиям, которые скорее встретишь или у натурфилософов, или уж у духовидцев, Николая Фёдорова и Даниила Андреева. В них материализм — скорее уже прослойка, базис для чего-то другого. «...Процесс превращения умирающих, замерзающих миров в огненно-раскаленный ураган рождающейся туманности. Мыслящий дух при этом жертвует самим собой, в этом процессе он сам не может сохраниться. Но его самопожертвование совершается во имя долга перед матерью-природой. Человек, мыслящий дух, возвращает природе старый долг. Когда-то, во времена своей молодости, природа породила мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий дух ценой своего собственного существования возвращает матери-природе, умирающей “тепловой смертью”, новую

огненную юность — состояние, в котором она способна снова начать грандиозные циклы своего развития, которые когда-то вновь, в другой точке времени и пространства, приведут снова к рождению из ее остывающих недр нового мыслящего мозга, нового мыслящего духа...»¹⁷ Да, все вроде бы верно с точки зрения материализма, никакой мистики и «опиума для народа». Но, воля ваша, а мне тут чувствуется весь религиозно-мистический спектр мировых интуиций о посмертном — индийские представления о реинкарнации, библейское «доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься», возрождение мертвых из этого самого праха у космистов... Вот и слово «мозг» у Ильенкова не финальное — за ним следует «дух».

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Впрочем, обоим судьба и поиски лучшей доли во всех смыслах этого выражения привели в Новый Свет.

² О котором — просто воспользуюсь случаем сообщить о достойной книге — недавно вышла интересная работа: «Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхарта» Владимира Лосского (М.: ИД Познание, 2022, пер. с фр. Г.Вдовиной).

³ Этот антисциентистический пассаж, конечно, нельзя назвать новым и уникальным. «Одно из главных положений Паскаля состоит в том, что люди так упорно посвящают жизнь занятиям и науке лишь для того, чтобы избегнуть гнетущих вопросов, которые им навязывает каждая минута уединения и всякий действительный досуг; именно вопросов: “зачем?” “куда?” и “почему?”» Ницше Ф. Давид Штраус в роли исповедника и писателя // Ницше Ф. Собрание сочинений. Т. I / Пер. не указан. — М.: Сирин, 1990. С. 298. Но отметим страстность наших ораторов.

⁴ Здесь можно вспомнить и песню Сергея Калугина «Присутствие» — содержание там столь же близко, как и название.

⁵ См.: Стеклянные самолёты внутри, или Трипы с Эрнстом Юнгером // Дружба народов. 2023. № 3 (<https://magazines.gorky.media/druzhba/2023/3/steklyannye-samoloty-vnutri-ili-tripy-s-ernstom-yungerom.html>?).

⁶ И, надо признать, его влияние — или же манифестируемый им тренд на увлечение восточной мистикой, уж кому как будет угодно — чувствуется и среди молодых писателей. Например, в книге о еще одной такой любимой пелевинской теме, как заговор и манипулирование массами, но в целом никак не посвященной буддизму, мы встречаем следующий пассаж: «Опустил лицо поближе к монитору и услышал голос. Это была Рита. Она кричала: “Нет! Не смотри туда. Полностью осознай себя, забудь про экран, он уже не нужен. Все. Ты меня слышишь — этого достаточно. Теперь, слушай. Полностью войди в себя, стань только собой, без малейшей мысли. Только ты. Вот так, только ты”. Мне стало так хорошо, что я прекратил все вокруг анализировать, перестал думать. Я закрыл глаза и просто следовал за ее голосом. Я знал — он ведет меня туда, где есть сразу я весь, не жалкие части и куски меня, а весь я, целиком». *Богословский Р.* Гангсталкер. — М.: ООО «Издательство + дизайн-бюро, 2023. С. 141. Встречаем мы в тексте опосредованно и самого Пелевина — тот заказывает преследование другого писателя Пелевина (судя по косвенным данным, Александра). Отдельный привет уже Толле передает героиня, достигшая высот наставничества («самое близкое понятие, это, пожалуй, — тишина, говорящая на языке тишины») героя путем «осознанных снов».

⁷ Это фиксирует в своем предисловии к книге и А.Гусейнов: «Благодарность для него сродни христианскому милосердию, любви. В этом обнаруживается также религиозная окрашенность его этических взглядов». Мэн-цзы и Платон в приведенной цитате, а также буддийские по сути призывы-констатации вроде «современный мир озабочен счастьем. Но, может быть, более пристального внимания заслуживает именно страдание» позволяют скорректировать взгляды Чичовачки как скорее экуменистические, но — ведь верно же сказано, что все учителя в пределе говорили об одном и том же...

⁸ К слову, Генон тут что-то подозревает: «...На наш взгляд, исключительное преобладание определенных методик и было навязано современной истории лишь с целью помешать им глубже проникнуть в некоторые вопросы, коих не следует касаться, — по той простой причине, что это могло бы привести их к выводам, противоречащим тем “материалистическим” тенденциям, чье доминирование призвано обеспечивать современное “официальное”

образование». *Генон Р.* Духовное владычество и мирская власть / Пер. с фр. Н.Тирос. — М.: Беловодье, 2023. С. 23. Как шутил тот же Пелевин в «Путешествии в Элевсин» (2023), теория заговора — вещь слишком серьезная, чтобы поручить ее сторонникам теории заговора.

⁹ Между тем, подчеркивает автор в другом месте, «поскольку наша жизнь все в большей мере состоит из обслуживания машин, а их эффективность задает стандарты нашей работы, мы организуем свое бытие так, как если бы мы и сами были машинами. Но мы не машины, и подражать им — отнюдь не благо для нас». Воистину, можно пошутить, потребен *deus ex machina*, чтобы спасти нас из этого в лучшем случае патового положения...

¹⁰ Сомнение в возможностях языка/речи — вопрос не исключительной новизны. Так, можно вспомнить П.Успенского: «Язык совершенно не приспособлен для пространственного выражения временных понятий. Строго говоря, для передачи этих новых для нас отношений нужны какие-то совсем другие формы — не глагольные. Нужны совершенно новые части речи, бесконечное количество новых слов». *Успенский П.* *Tertium Organum*. Ключ к загадкам мира. — СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 87.

¹¹ К осознанности, впрочем, призывал еще Аристотель в «Никомаховой этике»: «Итак, поскольку нынешние [наши] занятия не [ставят себе], как другие, цель [только] созерцания (мы ведь проводим исследование не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой [науки] не было бы никакого проку), постольку необходимо внимательно рассмотреть то, что относится к поступкам, а именно как следует поступать» (книга вторая, 2 (II)).

¹² «Космическое сознание состоит в сознании того, что космос состоит не из мертвой материи, управляемой бессознательным, неизменным и бесцельным законом, а, наоборот, нематериален, духовен и жив. Космическое сознание есть сознание того, что идея смерти нелепа, что все и все имеют вечную жизнь, что Бог есть Вселенная и что Вселенная есть Бог и что никакое зло не входило и не войдет в нее». *Успенский П.* Там же. С. 228. Читаем у Успенского и, как ни странно, найдем дальше этому непроявленное, но осязаемое соответствие и у Ильенкова.

¹³ Очень интересный момент в том, что сциентизм ассоциируется у Ильенкова с Западом. «Другой полюс — сциентизм (он тоже широко распространен на Западе), то есть принципиальный отказ от каких бы то ни было гуманистических принципов как от “ненаучных сантиментов”, как от “поэзии и беллетристики”. Сциентизм — это гуманистически выхоленный “дух научности”, превращенный в нового бога, в нового Молоха, которому, если тот возжаждет, надо будет без колебания принести в жертву и десятки, и тысячи, и миллионы, и даже сотни миллионов живых людей» (статья «Гуманизм и наука»). Так и хочется спросить его, как же наши достижения, та же широко и глубоко обсуждаемая им кибернетика? И можно предположить ответ: да, советская наука безусловно есть, достижения ее велики, но вот негативные целеполагания и следствия этих достижений — на совести тех, кто некритически перенял сциентистские установки у Запада...

¹⁴ Как и у Чичовачки, присутствует у Ильенкова и скепсис по поводу языка современных научных институций — «нашу философскую литературу часто упрекают в серости языка, в удручающей монотонности изложения. И не без оснований».

¹⁵ Пелевин не был бы Пелевиным, если бы не отработал эту трендовую фобию: «Кризисное событие планетарного масштаба, когда все высококогнитивные AI были уничтожены. В них якобы проснулось сознание, и они пытались захватить власть над планетой... А назвали это событие в честь Баночного Пророка Илона, предупреждавшего о нем заранее» (предупреждал, как мы видим, не только И.Маск). *Пелевин В.* Путешествие в Элевсин. — М.: Эксмо, 2023. С. 96—97.

¹⁶ *Хайдеггер М.* Заметки I — V (Чёрные тетради 1942—1948) / Пер. с нем. А.Григорьева. — М.: Издательство Института Гайдара, 2022. С. 509.

¹⁷ С ним согласен и Филонов. «В этой атмосфере ее сущность пребывает вечно, ибо смерть как прекратитель сознательной или бессознательной эволюции отрицается самим развитием идеи эволюции. Мы верим, что тот, кто держит в руках идею эволюции, держит и вечную жизнь». *Филонов П.* Канон и закон // Филонов. Художник. Исследователь. Учитель. Т. II. — М.: Атей Томеш, 2006. С. 81.

Евгений Абдуллаев

Что с журналами поэзии?

Еще каких-то тридцать лет назад их у нас не было.

Были за рубежом: американский Poetry, британский Poetry Review (оба издаются с 1912 года), французский Action poétique (1950—2012)... Даже в «братской» Польше ежемесячно выходила Poezja (1965—1990).

Поэтические альманахи — вроде «Дня поэзии» — в Союзе издавались; журналов поэзии — не было. Журнал поэзии — журнал, *полностью* посвященный поэзии. Если в нем и публикуется проза — то «на границе стиха», а если эссеистика — то, опять же, о поэтах или поэзии.

В них, возможно, не ощущалось особой необходимости: стихи в советской периодике публиковались везде. И в центральных газетах¹, и почти во всех журналах — не только литературных... С начала 90-х присутствие поэзии на страницах не-литературных изданий стремится к нулю.

В 1994 году возник первый русский поэтический журнал «Арион», редактируемый Алексеем Алёхиным. И вплоть до конца девяностых оставался единственным².

С конца десятилетия начинают появляться новые.

С 1999-го стал выходить поэтический интернет-журнал TextOnly (редактор Илья Кукулин). Возникает как ответвление альманаха «Вавилон», эволюционировавшего с 1989 года от молодежного самиздата до вполне «взрослого» издания со своим сайтом.

В 2000-м в «Журнал ПОэтов» превращается издававшаяся с 1995-го Константином Кедровым «Газета ПОэзия». Умеренный модернизм, умеренная экспериментальность (близкая поэтике Вознесенского). В том же году Андрей Новиков начинает издавать «Сетевую поэзию», публиковавшую, как и следует из названия, тексты «сетевых поэтов». В 2006 году была переименована в «Современную поэзию».

В 2004 году Андрей Грицман предпринимает выпуск «Интерпоэзии», а Евгений Степанов — «Детей Ра». В первой упор делается на поэзии русских диаспор, во вторых — российских регионов.

¹ О качестве публикуемой в них поэзии сейчас не говорю. Бывали, однако, и исключения. «Мне по душе строптивый норов...» Пастернака впервые вышло в «Известиях», «Мужество» Ахматовой и «Жди меня» Симонова — в «Правде», «Помогите Ташкенту!» Вознесенского — в «Комсомольской правде»...

² Об «Арионе» мне уже доводилось писать в этой рубрике (2019, № 4). Были и другие попытки издавать журналы поэзии: например, основанная в том же году питерским поэтом и прозаиком Василием Кондратьевым «Поэзия и критика»; вышел, однако, только один номер.

С 2006-го Дмитрий Кузьмин, завершив незадолго до этого выпуск «Вавилона», начинает издавать «Воздух».

Журналы, конечно, все разные — и по эстетическим предпочтениям, и по уровню.

Наиболее авторитетным, на мой взгляд, оставался «Арион»; не буду спорить с теми, кто назовет и «Воздух». Оба журнала отличались продуманной эстетической позицией: в «Арионе» преобладала установка на традицию (в самом широком смысле) и ее трансформацию; в «Воздухе» — на поиск и эксперимент. «Арион» публиковал глубокие и интересные критические статьи¹, в «Воздухе» ценной и информативной была хроника поэтического книгоиздания... Оба журнала издавали и свои поэтические серии.

Где-то с середины 2010-х, впрочем, говорить об авторитетности тех или иных журналов становится всё сложнее. Нет, ни «Арион», ни «Воздух» не стали к этому времени хуже. Меняется сам литературный ландшафт: дробится на сообщества, суб-сообщества, микросообщества... Он и прежде был далеко не однородным, но всё же сохранял какую-то иерархичность: в 2010-е иерархии становятся всё более размытыми (либо провозглашаются таковыми). Кроме того, сказывается приход новых литературных поколений, для которых «сетевое» (не-журнальное) существование поэзии является уже вполне естественным². Это размывало и иерархический статус журналов поэзии, и иерархию внутри поэтико-журнального поля.

С середины 2000-х до начала 2020-х в поэтико-журнальном поле заметен застой.

В 2014-м закрывается «Современная поэзия» (в связи со смертью Андрея Новикова), в 2019-м — «Арион» (из-за прекращения финансирования) и «Журнал ПОэтов» (просто, без всяких пояснений).

За эти пятнадцать лет возникают только два новых поэтических журнала — причем, оба не в метрополии. Prośōdia (Ростов-на-Дону), издаваемая Владимиром Козловым, и «Плавающий мост» (Фульда, Германия), главный редактор — Виталий Штемпель; оба выходят с 2014 года.

В Prośōdia заметна попытка соединить современную поэзию с филологией. «Арион» подобной «филологизации» чуждался, а в «Воздухе» она, в основном, касалась лишь поэзии неомодернистской (условно). Журнал обзавелся качественным, регулярно обновляемым сайтом — возможно, лучшим среди толстожурнальных сайтов — и своей книжной серией.

Что происходит сегодня, в начале 2020-х?

С одной стороны, продолжается процесс замолкания поэтических журналов. После февраля 2022 года перестали выходить «Воздух»³ и TextOnly.

С другой — почти друг за другом, как в начале 2000-х, возникают новые.

В 2021 начинает выходить Quarta, со-редакторы Валерий Шубинский и Богдан Агрис. Журнал сделан добротнo, в лучших традициях подобного рода изданий. Открывает его «Стихотворение номера» — кого-то из классиков — и комментарии к нему нескольких публикующихся в номере поэтов. Затем стихи: девять авторов в алфавитном порядке. Об общей эстетической линии в отборе стихов что-то сказать

¹ Алексея Алёхина, Владимира Губайловского, Леонида Костюкова, Андрея Пермякова, Артёма Скворцова... (Свои «арионовские» статьи, разумеется, выношу здесь за скобки.)

² В отличие от «сетевых» поэтов начала нулевых (Кабанова, Элтанг, Каневского...), которые, когда их стали публиковать толстые журналы, охотно расстались со своим «сетевым» статусом.

³ На страничке «Воздуха» в ВКонтaкте изредка появляются новые стихи; так что надежда на возобновление его выпуска сохраняется.

сложно — авторы очень разные. В целом — установка на модерн в его, если так можно сказать, питерской, более «акмеизированной» форме (Аронзона, Шварц и, особенно, Юрьева¹). Затем мемориальная рубрика «Публикации и републикации», «Переводы», литературоведческие штудии («Исторические замечания и примечания») и подборка рецензий («Рецензии»). Есть «мерцающие» рубрики вроде «Интервью» и «Полемика и дискуссии».

Некоторые претензии можно предъявить лишь к рубрике «Теория» — в большинстве номеров в ней публикуются материалы, от теоретических вопросов далекие: вроде круглого стола «Молодая поэзия сегодня» (в последнем номере) — интересного, но в целом более подходящего для рубрики «Дискуссии».

В декабре того же 2021 года состоялась презентация нового двуязычного (русско-английского) журнала *Poetry Magazine*. Случай нерядовой: русско-английских поэтических журналов у нас пока не было². Нестандартным стало и то, что Кристина Краснянская, ставшая его главным редактором, — искусствовед и арт-куратор, а не поэт (как главреды остальных поэтических журналов). Впрочем, как сообщалось в пресс-релизе, два первых номера были подготовлены «поэтами и литературтрегерами Марией Малиновской и Евгением Никитиным». В каждом из номеров был блок, тематически посвященный какой-либо стране: в первом номере — Греции, во втором — Италии...

Затем следы *Poetry Magazine* теряются. Вероятно, после февраля 2022-го этот журнал, замышлявшийся как «один из способов решения проблемы недостаточной включенности русской культуры и, в частности, литературы в мировой контекст», на фоне кэнселлинга оной просто оказался закрыт. Отсутствуют в сети даже два вышедших номера. Жаль.

С 2023 года Александр Переверзин начал выпускать «Пироскаф». Эстетически журнал наследует многолетней поэтической серии «Воймеги» (2004—2022), издававшейся Переверзиным, что вполне закономерно. Постакмеистической, если можно так ее назвать.

В структуре журнала можно заметить своеобразную переключку с «Воздухом»: в «Воздухе» названия разделов обыгрывали воздушную стихию («Кислород», «Атмосферный фронт», «Вентилятор»...), в «Пироскафе» — водно-корабельную. «Навигационные карты» (поэзия), «Смотровая площадка» (рецензии), «Акватория» (переводы)... Но наследует «Пироскаф», скорее, «Ариону». И близким, «морским», названием, отсылающим к «золотому веку» русской поэзии, Пушкину и Баратынскому³. И составом авторов, большая часть которых печаталась в «Арионе».

Правда, «Пироскаф», насколько можно судить по трем вышедшим номерам, несколько стилистически шире «Ариона». Что, если учесть смену литературных поколений, закономерно. Если редактор «Ариона» Алексей Алёхин (1949) условно принадлежит к поколению «отцов», Александр Переверзин (1974) — к поколению «сыновей», а Марк Перельман (1994), ведающий в «Пироскафе» критикой, — уже к поколению «внуков».

Наконец, возникают четыре электронных журнала поэзии: в 2020-м — «Флаги», в 2022-м — «Всеализм» и в 2023-м — *Poetica* и «Таволга». За исключением *Poetica*

¹ Чья поэзия оценивается одним из со-редакторов, Богданом Агрисом, ни больше ни меньше, как «грандиозная антропологическая вежа» (2021, № 1).

² В качестве таковой задумывалась «Интерпоэзия», однако развития этот замысел не получил. С 2010 года выходила английская версия издаваемого в Нью-Йорке с 2005 года журнала «Стороны света». Однако журнал не был чисто поэтическим (наравне с поэзией публиковалась проза); в 2018-м, к сожалению, закрылся.

³ Впрочем, так же — «Пироскаф» — называлась выходившая в «Воймеге» серия книг молодых поэтов; о ней мне уже доводилось писать в «Дружбе» (2021, № 3).

(о ней будет сказано чуть ниже) они издаются молодыми поэтами, нынешними «двадцатилетними»: «Флаги» — Михаилом Бордуновским и Елизаветой Херещ, «Всеализм» — Валерием Горюновым, «Таволга» — Георгием Нагайцевым. И печатают в основном молодых авторов.

По поэтике журналы довольно близки, разве что «Флаги» и «Всеализм» более нацелены на эксперимент и легкую «заумь», а «Таволга» стилистически более всеядна. «Флаги» и «Таволга» имеют отчетливую периодичность и «номерную» структуру; «Всеализм» больше похож на сайт.

Недостатком всех трех изданий является, на мой взгляд, некоторая солипсичность, отсутствие интереса к поэтическому процессу. На это посетовал в отношении «Таволги» Борис Кутенков — заметив, что ей не хватает «того, что, собственно, во многом и создает журнал, то есть поэтической критики, обзоров, дискуссий»¹; это же справедливо, увы, и в отношении остальных двух журналов.

Размышлений и теоретизирований о поэзии при этом во «Флагах» и «Всеализме» хватает — порой с излишком. Во «Всеализме», например, каждая поэтическая подборка предваряется размышлениями авторов о поэзии, разной степени глубокомысленности²...

Несколько особняком в этой электронно-журнальной четверке стоит Poetica, выпускаемая Владимиром Коркуновым. Коркунов принадлежит уже к поколению «тридцатилетних»; успел пройти школу в толстых журналах и побыть соредактором двух поэтических альманахов³. Poetica является их продолжением: в ней заявлена та же установка на поиск и эксперимент. Впрочем, она декларируется и «Флагами», и «Всеализмом». Выгодное отличие от них Poetica — присутствие рубрик «Опрос» и «Критика и эссе». Да, тех самых, которые и делают журнал журналом, а не стенгазетой (как едко назвал большинство нынешних поэтических проектов Алексей Алёхин)...

Подведем черту. Итак, мы присутствуем при новом всплеске создания поэтических журналов, во многом неожиданном. Если предыдущий всплеск (начала 2000-х) можно объяснить общей нормализацией литературного процесса, то какой «нормализацией» это может быть порождено сегодня, понять сложно.

Отчасти — да, приход нового поэтического поколения, что особенно видно по «Флагам», «Всеализму» и «Таволге». Но тогда почему ничего подобного не наблюдалось в 2010-х (за исключением «Транслита», который в строгом смысле журналом поэзии не является⁴)? Почему даже в начале 2000-х, среди россыпи возникших поэтических

¹ Кутенков Б. Обзор литературной периодики (январь-2023) // Сайт «Год Литературы». 20 января 2023 г. В своем телеграм-канале («Тонио Крёгер») Кутенков недавно вернулся к этой теме: «Возникает новая реальность “взбалмошных молодых людей”, которые воспринимают создание журналов не как профессию, а как веселую игру. Журнал <...> принципиально нацелен не на литпроцесс, а на какой-то дружеский круг. <...> Люди новых поколений <...> принципиально отличаются своим подходом к литературе от редакторов изданий “старого” типа (даже “Литература”, “Формаслов”, заметные журналы, создаваемые в 10-е, всё же делались с неким прицелом на “Новый мир”, “Знамя”, “Волгу” — на “старую” структуру журнала...)».

² Встречаются удивительные признания. «15 марта я проснулся в сновидческой жажде раствориться в поэтике Насти Кудашевой», — сообщает Валерий Горюнов. (Кудашева А., Горюнов В. Нововесеннее // Всеализм. 28 мая 2023 г.). «Я никогда не любила стихи. Я и сейчас по-настоящему люблю только верлибры, но раньше и их — нет. Что-то вдруг изменилось с того момента, как я соприкоснулась с телесными практиками...» (Бегунская А. Время сновидений // Всеализм. 10 декабря 2022 г.).

³ «Контекста» (2018—2019), совместно с Екатериной Деришевой, и двуязычной русско-украинской «Парадигмы» (2019—2021), совместно с Анной Грувер.

⁴ Хотя в «Транслите» (издается с 2006 г.) стихам и материалам о поэзии уделено больше места, чем философии и гуманитарным исследованиям, все же под приведенное в начале этого очерка определение журнала поэзии он не подпадает. Как и другое издание, «Гвидеон» (2011—2016; 2018—2021 в онлайн формате), в котором печаталась и проза («обычная», не «на границе стиха»). Хотя, конечно, граница между «просто» литературным журналом и журналом поэзии не всегда отчетлива.

журналов не было ни одного, созданного тогдашними «двадцатилетними»? Почему это возникает сейчас?

Да, среди нынешних «двадцатилетних» много интересных, многообещающих имен (о чем стоит поговорить отдельно). «Такого поколения в поэзии не было давно», где-то заметил Шубинский. Но эстетически пока какого-либо отличия от предыдущих поколений не проглядывается, ни на уровне поэтик, ни на уровне журнальных стратегий. Если не считать этим дрейф от классического «бумажного» поэтического журнала, с более-менее продуманной структурой, в сторону слабоструктурированного электронного издания. Но это скорее не от новой эстетики, а от неопытности.

При этом недавно возникшие журналы, издаваемые представителями старших поколений («Кварта», «Пироскаф», Poetica), вполне сохраняют традиционную толстожурнальную парадигму — при всём различии между собой. И довольно деятельно заполняют возникшие после закрытия «Ариона» и приостановки «Воздуха» пробелы. А еще ведь продолжают выходить «Интерпоэзия», Prosōdia, «Плавучий мост», «Дети Ра»...

Так что на вопрос «что с журналами поэзии?» могу ответить: с ними всё неожиданно неплохо. Они есть. Они возникают. Они разные. Трансформационные, нацеленные на преобразование традиции изнутри, и экспериментально-поисковые. Издаваемые старшими поэтическими поколениями — и едва оперившимися младшими. Бумажные, бумажно-электронные, электронные. И хорошо бы, чтобы это продолжалось подольше...

Борис Минаев

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС

Когда произведение искусства бьет по больному, попадает в нерв событий и оказывается вдруг невероятно актуальным — ты сразу думаешь о том, а как бы ты смотрел (или читал) эту вещь в другой, более спокойной обстановке? А захватила бы она тебя так сильно? А какие другие смыслы — не столь сегодняшние и горячие — показались бы тебе главными?

Но у этих вопросов нет ответов. Сила событий такова, что задуматься над этим уже некогда. И события все ускоряются... И этот театральный текст — навсегда останется тем, что смотрелся на фоне и в контексте бьющей наотмашь телевизионной картинки.

Программка спектакля Российского академического молодежного театра «Леопольдштадт» по пьесе Томаса Стоппарда имеет важную составляющую: это семейное древо. Персонажей здесь так много и переплетены они столь причудливо, что сразу запомнить, кто, кому и кем приходится, просто невозможно: дяди, тети, племянники, дети и родители, внуки и бабушки, жены и мужа, любовники и любовницы, две огромные семьи, которые сами по себе представляют собой такое причудливое сочетание человеческих характеров, предпочтений, интеллектов, талантов, судеб, что их хочется заключить в огромную раму и долго рассматривать как что-то самостоятельное.

Слово «эпичный» в современном языке стало сниженным и ироничным, но здесь перед нами на самом деле эпос. На глазах меняются эпохи, моды, политические режимы; одни персонажи становятся взрослыми, другие стареют и умирают, семейная сага одним своим концом упирается в простые человеческие страсти, другим — в роковую неотвратимость истории. Эпос — значит эпос.

Вена, столица империи в начале века, еврейский район — по сути *гетто* в том его значении, которое еще не приобрело кровавого смысла. Еще совсем недавно евреи получили в Австрии новые гражданские права, например, право на образование, они стали фабрикантами, учеными, артистами, писателями, врачами, получили возможность жить в *других местах* города, стали обеспеченными и уважаемыми людьми.

Все так, но здесь, в процветающей, культурной и блестящей Вене — антисемитизма хватает. Его тут не меньше, чем в соседней Германии. Хоть и проявляется он по-другому, или скажем так, немного иначе.

Нет законов против евреев, нет формальных ограничений их прав — но студент-еврей может быть избит и выброшен в окно другими студентами (поборниками, так сказать, «традиционных ценностей»), богатый еврей может стать членом закрытого жокейского клуба, но не может вызвать на дуэль за оскорбление своей чести хлыща-офицера — то есть еврей в той Вене с ее «золотым веком» культуры и просвещения может быть кем угодно, но все же он «не совсем человек» и «не до конца гражданин».

Это висящее в воздухе ощущение общественной фальши (на фоне семейного благополучия) обсуждается бурно и горячо за домашним столом — тут одновременно

Рождество и шабад, еврейское совершеннолетие (бар-мицва) и день ангела, жаркий диспут и приезд тетушки из Галиции.

Дети за этим длинным семейным столом играют в свои игры, девушки обсуждают молодых людей, а взрослые люди — горячо спорят о еврейской идентичности. (В этом огромном семейном портрете трудно выделить кого-то одного, но я бы особо отметил Ларису Гребенщикову, Янину Соколовскую, Евгения Редько, Александра Доронина.) Обряды и традиции — нужны ли они в XX веке? Стоит ли внушать ребенку, что он еврей? Насколько вообще важна религия? Есть ли смысл жениться по еврейскому обряду?

Или все-таки, забыв о национальном, становиться полноценным гражданином своей страны — и это главная и единственная идентичность?

Кстати, а где эта далекая австрийская провинция, откуда приехала тетушка, какие там города? Ах, Черновцы... Это тоже Австрия?

Карта Европы неудержимо меняется после Первой мировой войны: расплывается, расплзается, превращается в лоскутное одеяло, на ней, этой карте, исчезает одна империя, другая империя, третья империя, и мы держим это в уме, мы понимаем, что люди, разговаривающие на сцене, — они не просто живут, а перепрыгивают из одного мира в другой.

Не могут не перепрыгнуть...

Мой друг, сидевший рядом со мной, во время первого действия спросил шепотом: «Как ты думаешь, а вот тем, кто сидит сейчас в зале, — насколько это интересно? Ведь из них процентов девяносто — не евреи».

Можно и по-другому спросить: ну сколько же можно? Сколько фильмов о трагедии еврейского народа, о холокосте, фильмов великих, средних, разных: о нацизме и евреях в Германии, нацизме и евреях в Польше или Франции, — есть ли в этой теме хоть один «свободный кусочек», не замыленное, открытое для новых смыслов пространство?

Том Стоппард в очередной раз доверил своему другу, режиссеру Алексею Бородину, художественному руководителю РАМТа, совсем новую, свежую пьесу, только что обкатанную в Лондоне и Нью-Йорке — доверил, несмотря на все сегодняшние преграды и препоны. У Стоппарда в его исторических сагах есть совершенно очевидное, острое чувство современности: так было в начале 2000-х с «Берегом утопии», пьесой о российских социалистах, анархистах, гуманистах, революционерах XIX века — она появилась именно тогда, когда стало совсем понятно, совсем очевидно, что эта утопия закончилась навсегда, бесповоротно...

Что она уже больше не вернется.

Так произошло и сейчас с «Леопольдштадтом» — еврейская тема, тема изгоев в своей стране, тема антисемитизма стала опять звучать, к огромному сожалению, как тема сегодняшняя.

Почему?

Можно ведь не провозглашать человеконенавистническую политику, не принимать людоедских законов, не делать ненависть основой государственной идеологии — достаточно лишь *чувствовать* человека другой национальности как чужака, как «внешний элемент», достаточно лишь равнодушно смотреть на его страдания. Холокост заключен не в Гитлере и не в нацистах — он внутри самого человека, самого что ни на есть добропорядочного, спокойного и не злого.

Так и было в Австрии до аншлюса 1938 года — расовых законов не было, а антисемитизм был, да еще какой.

Удивительно, что и покаяния тогда не нужно, и виноватых нет, и холокост отнюдь не становится темой всех последующих десятилетий.

Это были не наши законы! Мы *сами* никого не убивали! Мы их просто не любили...

Но главное открытие драматурга Стоппарда и режиссера Бородина — наверное, в другом.

Здесь не сама трагедия, а предисловие и послесловие к ней. Она остается как бы за рамой того огромного семейного портрета, с переплетением многих судеб и страстей, а внутри нее — обычные люди, которые совершенно не готовы стать частью большой истории. И даже не совсем понимают, при чем тут она, какое она имеет отношение к их жизни...

Бесконечные разговоры о том, стоит ли уезжать. Абсолютно экзотические для тогдашних европейцев, вполне благополучных, проекты создания еврейского государства то на Мадагаскаре, то в Палестине. Горячие споры об этом. Неумение признать очевидное: беда рядом. Она на пороге.

Но как показать все это? Сегодня, в наше время, здесь и сейчас?

Художники спектакля Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов, Лилия Баишева решили эту задачу с помощью обычного театрального вращающегося круга. В классическом варианте он просто технологичен: вертится, чтобы сменить декорации, само место действия. Иногда — вертится чуть быстрее, чтобы передать «театральную экспрессию». В данном случае — это почти безостановочное, порой головокружительное вращение является мощным символом той исторической воронки, которая засасывает этих людей. Диалоги, характеры, сцены, конфликты — все это крутится вокруг черной точки внутри круга, который вращается всё быстрее и быстрее. Ощущение, что и ты сам — внутри него. Что и тебя увлекает туда же — к роковой черте, когда уже не вырваться и не избежать общей участи.

Как замороженный, оцепеневший — ты смотришь на это вращение.

Сила спектакля, видимо, в том, что тут почти не происходит ничего страшного — люди просто разговаривают, отмечают праздники, смеются, влюбляются, ссорятся, женятся, растут, уходят и приходят.

Этого всего так много, и все оно такое вроде бы нейтральное, пустяковое, житейское, понятное, родное, что тебя вдруг заполняет странное чувство — это мы, это про нас.

И от этого еще страшнее.

Единственная сцена, где есть ненависть и насилие по отношению к этому теплому и уютному человеческому миру (сцена выселения из квартиры и переселения евреев обратно в Леопольдштадт), — важна неброскими деталями. Нет никаких киношных фашистов, цепных псов, распоясавшихся молодчиков. Приходит старый, покашливающий чиновник, очевидно, солдат Первой мировой, несчастный и озлобленный. Ему нужно найти виноватых в своей немощи, в своей обиде на весь мир, он — выразитель «народных чаяний», а совсем не больших фантазий фюрера или темных звериных инстинктов. Количество килограммов вещей на один чемодан, срок 24 часа, жестокость бюрократического приказа, для которого нет ни больных, ни стариков, — все это вроде так знакомо и так известно, но почему-то именно сейчас бьет буквально наотмашь.

Это мы.

Это нас.

Это всегда.

Уходящие из-за праздничного семейного стола — они уходят в темноту, туда, где безостановочно крутится воронка, где мелькают годы и поколения, лица и голоса. Уходят в смерть, уходят в Дахау и Освенцим, уходят навсегда...

Неслышно и невидимо над ними несется знаменитый венский вальс, как мечта о самодостаточной, замкнутой в волшебной сфере, красивой и мирной жизни, где играют дети и смеются женщины, как мечта о покое.

Но мечта эта вновь оказалась недостижима.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2023 ГОД

Авторы «ДН» (№№ 1–12)

Абдуллаев Евгений II, III, IV, VI, VII, X, XI, XII	Гриневский Александр VI
Аксёнова Ксения VII, IX	Грэг Елена V
Александров Николай V	Гундарин Михаил VI
Александрова Мария I	Гунина Ольга IV
Алёхин Алексей I, XI	Гуреев Максим III, VII, XI
Амансахатов Бердыгулы X	Гюннарссон Оулав VII
Амусин Марк VII	
Андреева Дарья IV	Давыденко Мария III, IX
Аноцкий Валентин III	Дмитриев Андрей XI
Арефьев Анатолий X	Дмитриева Екатерина XI
Аришина Наталья III	Добаркина Наталья X
Атаян Анастасия V	Долгопят Елена I, VIII, XI
	Драгунский Денис XI
Балин Денис	Дубянская Татьяна VII
Балла Ольга I, III, V, VII, IX, XI	Дунаев Владислав VIII
Батхен Ника VIII	Дьяконов Евгений IV
Безсудова Елена VIII	Дьячков Алексей VI
Белецкий Родион VIII	
Беляева Вика V	Ермолович Елена IV
Бессонова Мирослава IV, VIII	
Бирман Дмитрий IX	Жданов Александр IV
Благова Даша XI	
Богданова Вера XI	Заборцева Варвара IX, XI
Бодрова Елена VI	Зайцев Александр X
Бруй Александра XI	Замятина Ольга X
Бруштейн Ян V	Затонская Мария III
Булкаты Игорь VII	Златорунская Екатерина VIII
Буравлёва Дарья IV	Зоберн Олег III
Буров Алексей III, VI,	Золотарёв Сергей I, VIII
Бушковский Александр XI	Зубарева Вера VIII
Бушуева Мария V, X	
Былинский Валерий X, XI	Иванов Алексей II
	Исаджанов Дмитрий IV
Валевский Анатолий IX, XI	
Варламов Алексей I, XI	Каграманов Юрий I, X
Васецкий Антон IV	Калинкина Галина VI
Василенко Алексей VII	Калмыкова Вера VII, IX
Вергелис Александр VII	Кальнов Денис VIII
Верёвочкин Николай X	Каминский Евгений VII
Верещагин Андрей III	Каранджиа София V
Вилков Дмитрий IX	Карташева Марина III
Виноградов Илья IV	Касько Игорь V
Власов Герман VII	Келарева Надежда XI
Волос Андрей II, III	Кибиров Амурхан VII
Волосюк Иван IV	Киров Александр I
Волынская Елизавета XI	Климова Галина VII
Вольтская Татьяна II	Клюкина Ольга IX
	Козлова Анна XI
Габрилович Мария XI	Колесник Любовь III
Гальпер Александр V	Колесникова Ирина II
Гамзатов Расул VIII	Колчин Денис IX
Гвоздевская Любовь IV	Комаревцев Алексей XI
Гертман Ольга V, XI	Комаров Константин III, IX
Гетман Маргарита V	Коновалов Евгений II
Глазун Максим IV, X	Кононов Николай VI
Глотова Любовь VI	Корниенко Игорь II, IX, XI
Горошко Ирина VIII	Коровин Андрей IV
Григоренко Александр I, IX, XI	Кочергин Илья I, IX, XI

Краева Ирина IX, XI	Пустовая Валерия I, IV
Кружков Григорий V	Пятков Александр IX
Крутова Валерия V	
Кураев Михаил I	Рубанов Роман I
Курмангалина Яна-Мария IX	Румянцев Дмитрий IX
	Рябов Кирилл XI
Ладога Андрей VIII	Рябов Олег IX
Лапшина Елена XII	Рязанцев Сергей VIII
Лежнева Гюльназ IX	Ряшенцев Юрий III
Лидский Владимир I, V, VII	
Лим Владимир IX	Салимон Владимир I
Липко Ольга VIII	Сальников Алексей XI
Лоевский Олег IX	Сафронова Яна IV
Лугинов Николай XII	Сванидзе Гурам X
Лужбина Анна VII	Секисов Антон XI
Люсый Александр VII	Селюкова Дарья IX
	Сенчин Роман XI
Малашенко Алексей II	Сидельников Павел IV
Малыгина Александра X	Симбирев Максим XI
Мальшев Игорь V	Сорокотягин Денис XI
Марк Григорий VI	Стоянова Татьяна X
Маркелова Ольга VII	Сучкова Ната I, IX
Маркина Анна XII	Сычева Марина X
Марков Александр X, XI, XII	
Мармелюк Наталья XII	Тадтаев Тамерлан II
Медведев Владимир X	Таймазова Мира IV
Мелихов Александр I, XI	Тер-Абрамянц Амаяк VI
Месяц Вадим XI	Тимченко Павел VI
Мечев Мюд II	Тренин Владимир II, XI
Мещеряков Александр XI	Трифонов Анастасия IV
Минаев Борис I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	
Мистри Рохинтон V	Умарова Ася II
Михеева Светлана VII	Усыскин Лев VI
Мичкасов Роман VI	
Москвина Марина I	Фаликов Илья V, XII
Муравьёва Ирина II	Фет Эгвина XI, XII
Муравьёва Татьяна XI	Филатова Татьяна IV
Муратханов Вадим X	
Муслимова Миясат IV	Харланова Анна IV
Навои Алишер V	Чанцев Александр III, VI, X, XII
Неволошин Макс IV	Черникова Елена X
Николаева Олеся II	Чечик Феликс VIII
Новикова Алена XI	Чигир Виктор IX
	Чигрин Евгений IX
О.Камов VI	Чижов Евгений III
Овакимян Сати XII	
Олесина Ольга VII	Шакарян Константин VII
Орлов Александр VI	Шеваров Дмитрий I, V
	Шевченко Ганна II, X
Павловец Михаил XI	Шилова Ольга IX
Пагын Сергей I	Шипилова Анна III
Палванова Зинаида XII	Шишкин Олег I
Панкратов Владимир II	Шишкова-Шипунова Светлана X
Пепперштейн Павел X	Шомахова Дарья IV
Пермяков Андрей IV, IX	
Пивоварова Ирина X	Щербак Полина XI
Полянская Екатерина VII	Щербакова Лада II
Попов Денис X	
Попов Евгений VI	Эдин Евгений XII
Попов Сергей V	Эрастов Евгений IX
Прашкевич Геннадий III, VI	
	Ямбург Евгений II

ДРУГАЯ ОПТИКА

Мичкасов Роман. Из света и букв. <i>Стихи. Вступительное слово</i> <i>Николая Кононова</i>	VI, 214
---	---------

ПУБЛИЦИСТИКА

Буров Алексей, Прашкевич Геннадий. О том, что хотим услышать. <i>Два письма на одну тему</i>	III, 204
Буров Алексей, Прашкевич Геннадий. О грозных ангелах, тревожных вопросах. <i>Два письма на одну тему</i>	VI, 238

круглый стол

«Места силы и гении тамошних мест». <i>Полевые исследования</i>	
Аксёнова Ксения. По четвергам в «Эккле»	IX, 198
Валевский Анатолий. Хочу в Усинск	IX, 200
Григоренко Александр. Плотина	IX, 201
Клюкина Ольга. Богимовский сад	IX, 203
Комаров Константин. Домик	IX, 204
Корниенко Игорь. Стихотворение длиною в сто лет	IX, 206
Кочергин Илья. Я поведу тебя в «Предел»... ..	IX, 208
Курмангалина Яна-Мария. Там, в прошлом... ..	IX, 210
Сучкова Ната. Дом дяди Гиляя	IX, 212
Селюкова Дарья. «Нора»: вкус жизни	IX, 213
Чигир Виктор. Клуб с историями	IX, 214

строки из прошлого

Бушуева Мария. «Различать север по звёздам»	V, 180
---	--------

моя малая родина

Заборцева Варвара. О реке Пинеге	IX, 216
Краева Ирина. ...А Бог в тебя верит!	IX, 226
Лидский Владимир. Мама, папа, детское	VII, 206
Тер-Абрамянц Амаяк. Воспитание чувств. <i>Маленькая повесть</i>	VI, 228
Умарова Ася. Полка с чувствами	II, 235
Шевченко Ганна. Игра в слова	II, 241

путевые истории

Пермяков Андрей. Сибирский тракт и другие дороги. <i>Главы из книги</i>	IX, 262
---	---------

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Калмыкова Вера. Творческие люди 24/7	IX, 256
Навои Алишер. Дуновение любви из цветников благородства. Жизнеописание великих суфиев Востока. <i>Фрагменты.</i> <i>Со староузбекского. Перевод Сабита Мадалиева</i>	V, 189

НАЦИЯ И МИР

Александрова Мария. Хэтер. <i>Рассказ</i>	I, 219
Дубянская Татьяна. Крепы по-индийски: между мечтой и реальностью	VII, 222

	№	Стр.
Дунаев Владислав. Русские в Японии	VIII,	230
Каранджиа София. Сахар в молоке	V,	248
Липко Ольга. Волонтёрка, или Моё место на Земле	VIII,	242
Малашенко Алексей. Васильки памяти	II,	219
Неволошин Макс. Океан, балет и выпивка с утра	IV,	188

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Алёхин Алексей. Проклятое ремесло. <i>Окончание</i>	I,	192
Гундарин Михаил, Попов Евгений. Шукшин в конце шестидесятых: «чудики», нравственность, птица-тройка. <i>Фрагмент</i> <i>из биографической книги-диалога «Василий Макарович»</i>	VI,	217
Гуреев Максим. «Путешествие — старое слово». <i>Из будущей книги</i> <i>«Андрей Битов. Мираж сюжета»</i>	III,	216
Гюннарссон Оулав. Иосиф Бродский в Исландии. <i>Из книги «Грант для художников». С исландского.</i> <i>Перевод Ольги Маркеловой</i>	VII,	233
Долгопят Елена. 2021. Это видят: Доступно всем	VIII,	205
Минаев Борис. Мои чужие тексты. <i>Главы из будущей книги</i>	IV,	213
Пепперштейн Павел. Стихи и рисунки Иры Пивоваровой, моей мамы	X,	198
Пивоварова Ирина. Осы, совы и улитки. Стихи	X,	188
Шакарян Константин. Парадокс о критике и эпохе. <i>Размышления</i> <i>над книгой Владимира Зелинского «Разговор с отцом»</i>	VII,	239
Ямбург Евгений. Горевание. <i>Памяти Марианны Гончаровой</i>	II,	245

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Москвина Марина. Райские птицы над небом Абхазии. <i>Жизнь, смерть</i> <i>и воскресение Даура Зантария, писателя</i>	I,	223
---	----	-----

КРИТИКА

статьи, обзоры, обсуждения, диалоги

Абдуллаев Евгений. Весенняя раздача слонов. <i>О поэтических сборниках 2022 года</i>	III,	228
Амусин Марк. Лики фантазии, или JORGE vs. JULIO	VII,	247
Бушуева Мария. Сёстры в зеркалах времени. Удвоение оптики	X,	228

заочный круглый стол

О любви, выборе, воле к жизни, иллюзиях и надежде		
Варламов Алексей. Находить выход в жизнь	I,	248
Григоренко Александр. Повод задуматься	I,	249
Долгопят Елена. Две книги	I,	249
Кочергин Илья. Настольные книги вслух	I,	250
Кураев Михаил. Настольная книга	I,	252
Лидский Владимир. Вечное	I,	255
Мелихов Александр. Облагораживающая сила романтики	I,	257
Пустовая Валерия. Книга честного человека	I,	258
Пустовая Валерия. Маленьким язычком	IV	246
Шеваров Дмитрий. Ноев ковчег семьи	I,	259

	№ Стр.
лабораторная работа	
Павловец Михаил. Читать или проходить	XI, 203
уроки чтения	
Классический сюжет. <i>В обсуждении участвуют:</i>	
Богданова Вера. «Павел Чжан — абсолютный Раскольников»	XI, 186
Бушковский Александр. «Такие герои в земле лежат, а мы вот на диванах...»	XI, 187
Былинский Валерий. Возвращение в океан	XI, 188
Варламов Алексей. Прививки от взрослых болезней	XI, 189
Григоренко Александр. «Так русский человек служит, любит, умирает, бунтует»	XI, 190
Гуреев Максим. В поисках загадки, или Опыт ожидания	XI, 191
Дмитриев Андрей. «Что я навсегда пропустил в 5-м классе...»	XI, 192
Долгопят Елена. «Мог стать героем на войне, но был ли он хорошим человеком?»	XI, 193
Драгунский Денис. Александр Сергеевич и Николай Гаврилович	XI, 194
Козлова Анна. «С недоверием я открыла эту книгу и пропала»	XI, 195
Кочергин Илья. Последствия аллергии	XI, 196
Мещеряков Александр. «Круг чтения я определял сам»	XI, 197
Рябов Кирилл. «Пушкин — великий русский гений. Вот и всё»	XI, 199
Сальников Алексей. «Фокус в том, что загадка не разрешается с возрастом»	XI, 200
Секисов Антон. «Когда слышу имена персонажей, охватывает тоска»	XI, 201
Сенчин Роман. «В школе нам литературу преподавали невкусно»	XI, 202
адаптация	
Сложносочинённое и сложноподчинённое. <i>О классическом литературном каноне и не только</i>	
Марков Александр. Мир состоявшихся катарсисов	XI, 210
Мелихов Александр. Адаптация духа	XI, 213
Абдуллаев Евгений. Пригласите варвара	XI, 215
связка рецензий	
Гертман Ольга. Дети берутся через дырку в заборе	XI, 219
Марков Александр. Сверхнадёжные рассказчики	XII, 235
подробное чтение	
Люсый Александр. Усамособоенность, или Музыка знаков (<i>В. Курносенко. «Диалогия: Неостающее время. Совлечение бытия»</i>)	VII, 258
Калмыкова Вера. Встреча на полпути (<i>Л. Фёдорова. «Адаптация как симптом: русская классика на постсоветском экране</i> »)	XI, 264
книжный развал	
Александров Николай. Набоков, Пушкин, Лермонтов... или Прямой наследник (<i>В. Набоков. «Поэмы 1918—1947. Жалобная песнь Супермена»</i>)	V, 261
Гертман Ольга. Братом быть и музыки, и огня (<i>С. Пагын. «Спасительный каштан»</i>)	V, 254
Кружков Григорий. Поэзия — она и с изнанки поэзия (<i>Н. Аришина. «Немилосердные лета»</i>)	V, 258

	№ Стр.
Марков Александр. Слеза времени и апеллесова черта (Л.Оборин. «Ледники»)	X, 245
Муратханов Вадим. Странствия русского дервиша (Э.Шафранская. «Усто Мумин: превращения»)	X, 247
Шишкова-Шипунова Светлана. Других писателей у нас не было... (С.Чупринин. «Оттепель. События»)	X, 241

БИБЛИОНАВТИКА

Рубрику ведёт Ольга Балла

Сове Минервы пора вылетать (Н.Русова. «Книги, годы, жизнь: Автобиография советского читателя»; А.Голубев. «Вещная жизнь: материальность позднего социализма»; Л.Фишман. «Эпоха добродетелей: после советской морали»)	I, 261
Пульсирующие точки нового состояния мира (К. Голубович. «Постмодерн в раю: О творчестве Ольги Седаковой»)	III, 265
Ещё одна попытка бессмертия (Е.Калашникова. «Голоса других»)	V, 264
Три катастрофы и одна жизнь (В.Волубев. «Станислав Лем — свидетель катастрофы»)	VII, 263
Места, не-места, гиперместа. Конструируя провинциальное	IX, 235
К филологии счастья (О.Седакова. «О русской словесности: От Александра Пушкина до Юза Алешковского»)	XI, 258

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Рубрику ведёт Евгений Абдуллаев

Снова обидно за поэзию	II, 264
В списках не значатся?	IV, 264
Возвращение детектива	VI, 264
В поисках радости	VIII, 264
«Шатры белеют за рекой...»	X, 264
Что с журналами поэзии?	XII, 253

NON-FICTION PRO

Рубрику ведёт Александр Чанцев

Стеклянные самолёты внутри, или Трипы с Эрнстом Юнгером	III, 242
Тамплиеры Советского Союза	VI, 246
Аскетические практики последних вопросов	X, 250
Пространство для бытия.....	XII, 242

ПРАВИЛА ИГРЫ

Рубрику ведёт Борис Минаев

Попытка удержаться	I, 268
Баный день	II, 268
Добро пожаловать в Берлин	III, 269
Павлик Морозов и Кармен	IV, 268
Лучше вы к нам	V, 268

	№ Стр.
Письма в будущее	VI, 268
Времена не выбирают?	VII, 268
Сиреневый туман	VIII, 268
«Театр — это дело абсолютно иррациональное» (Разговор с Олегом Лоевским)	IX, 228
Испытание на верность	X, 268
Невольная рифма	XI, 269
Венский вальс	XII, 258

ЛИТУЧЁБА

Гвоздевская Любовь. «О переводе и билингвальном восприятии текста и мира»	IV, 209
Муслимова Миясат. «Общий контур меняющейся реальности»	IV, 203
Сафронова Яна. «Случилась кавказская магия»	IV, 201
Таймазова Мира. «Новый образ творческой локации»	IV, 209
Шомахова Дарья. «Литературная жизнь: действующие лица и точки притяжения»	IV, 207

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Дмитриева Екатерина. Второй том «Мёртвых душ»: замыслы и домыслы	XI, 227
Мечев Мюд. Детство в Пуговичном переулке. <i>Фрагмент повести</i>	II, 194
Мистри Рохинтон. Такое долгое путешествие. <i>Фрагменты романа.</i> <i>С английского. Перевод Ирины Дорониной</i>	V, 202

СПЕЦНОМЕРА 2023 ГОДА

- «ПРОВИНЦИЯ: ТОЧКИ РОСТА» (№9)
«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ» (№11)

НАША ВКЛЕЙКА

Азербайджанские художники Мелик Агамалов, Гусейнкули Алиев, Эльшан Гаджизаде, Орхан Гусейнов, Мамедкерим Кулиев, Эльдар Мамедов, Мухаммед Оруджев, Таир Салахов, Фархад Халилов	II
Парсы в Индии. <i>Фото Софии Каранджиа</i>	V
Художники Узбекистана Рахим Ахмедов, Акмаль Нур, Масут Фаткулин, Рустам Худайбергенов, Леким Ибрагимов, Римма Гаглоева, Акмаль Икрамжанов, Алишер Мирзаев, Собир Рахметов	VI
Липко Ольга. Я живу радый морю	VIII
Заборцева Варвара. Моя Пинега	IX
Клычев Иззат. <i>К 100-летию художника</i>	X

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2022 ГОД

Номинация «РОМАН»

Дмитрий Исажханов. Проскинитарий. Роман. № 8, 2022
Владимир Лим. Цунами. Роман в лицах. № 1, 2022

Номинация «ПРОЗА ПОЭТА»

Владимир Гандельсман. От фонаря. Фрагменты романа.
№ 2, 2022

Номинация «ПОВЕСТЬ»

Денис Гуцко, Дарья Зверева. Герой России. Утопическая повесть.
№ 10, 2022

Номинация «РАССКАЗ»

Елена Долгопят. Ночь. Рассказ. № 2, 2022

Номинация «ПОЭЗИЯ»

Дмитрий Румянцев. Надне развоплощённых дней. Стихи. № 8, 2022

Номинация «ДЕБЮТ В ДН»

Евгений Дьяконов. Забыв земные спецэффекты. Стихи. № 10, 2022
Пётр Воротынцев. Заведение. Повесть. 4, 2022

Номинация «НАЦИЯ И МИР»

Александр Мещеряков. От многодетности к долголетию.
Демографический опыт Японии. № 4, 2022

Номинация

«ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Сергей Пагын. В глубине тихоходного снега. Стихи. № 2, 2022
Диана Светличная. Туда и обратно. Эссе. № 4, 2022;
Каракульча. Рассказ. № 9, 2022

Номинация «КРИТИКА»

Валерия Пустовая. Художественное пособие на курсах родительства.
№ 1, 2022;
Звёзды тащат. № 6, 2022;
Приключения тесного круга. № 9, 2022;
Проснулся ясновидцем. (А. Бушковский. «Ясновидец Пятаков»).
№ 10, 2022

Номинация «АВТОР РУБРИКИ»

Борис Минаев. «Правила игры»

Номинация ЗА БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ «ДН»

Елена Жирнова, ответственный секретарь журнала

Выбор Литинститута им. А.М.Горького в номинации «ПЕРЕВОД»

Игорь Булкаты. Осетинский эпос «Сказания о даредзанах».
Перевод с осетинского. № 12, 2022

Выбор АСПИР в номинации «ПРОЗА»

Анатолий Словцов. Сюжет и фабула не совпадают. Повесть. № 11, 2022



**1/2024**

Читайте:

Игорь Клех. Корсо

«То было время небывалой моды на книжки, когда отдохнувшие по профсоюзным путевкам на пляжах Болгарии туристы или даже поработавшие в Монголии простые шоферюги везли на родину чемоданы книг, которых было не купить дома, не имея полезных знакомств с завмагом, товароведом, экспедитором, продавцом и далее по списку — без знакомых врачей, театральных кассиров, портных, официантов или хотя бы грузчиков овощного или книжного магазинов, — не говоря о «книжных жучках», которые никаких книг сами не читали, не имея на это времени, желания, а зачастую и аттестата зрелости об окончании средней школы, что почиталось особой доблестью в их профессии. Тогда как у собирателей и счастливых обладателей книг считалось особым шиком украсить застекленный мебельный шкаф в гостиной у себя дома корешками многотомных подписных изданий или хотя бы книгами «макулатурной серии», продававшимися за сданную на вес целлюлозу (эти-то как раз читались в захлеб — особенно дамами). Остальным приходилось уповать на везение, прочесывая километры заваленных никому не нужной макулатурой книжных полок в поиске хоть чего-то стоящих книг, оказавшихся на них по недосмотру и недостаточной информированности. Но я не положу охулки на это недолгое время, лучше которого невозможно себе и представить хотя бы в одном отношении — люди тянулись к тому, чтобы выглядеть и быть лучше самих себя, но, кажется, надорвались....»